

0-38

№ 3

324363



**ОГНИ
КУЗЬБАССА**



Моему давнему товарищу и первому наставнику в трудной литературной работе Александру Никитичу Волошину нынче земля Кузнецкая отмечает шестидесятилетие.

В девятнадцать он начал землекопом и бетонщиком на строительстве Кузнецкого металлургического комбината, затем — забойщик и взрывник на осинниковских шахтах, литсотрудник горняцких газет, все четыре тяжких для страны года — сержант инженерно-саперного полка на фронте, а спустя еще пять лет — профессиональный писатель, лауреат Государственной премии СССР, автор повсеместно известного в стране и переведенного на многие языки мира романа «Земля Кузнецкая».

Нет, годы не прожиты даром. Жизнь Александра Волошина — это беспокойная и сложная жизнь народившегося в самом сердце Сибири индустриального Кузбасса, полнокровная жизнь героев его книг. Романы А. Волошина «Дальние горы» и «Все про Наташку», книги повестей и рассказов «С чего жизнь началась» и «Дороги зовут», пьесы «Цвести черемухе» и «Кузнецкая легенда», его статьи и очерки в центральной и местной периодической печати — бесценная летопись великих деяний и свершений работающих людей земли Кузнецкой, их гражданского и воинского подвига, написанная неравнодушным горячим сердцем, влюбленным в эту чудесную землю, написанная большим и талантливым художником слова.

А сколько щедрости этого сердца и этого таланта отдано воспитанию и становлению молодых кузбасских литераторов, чьи имена известны теперь всесоюзному читателю. Председатель Кемеровского областного литобъединения, один из основателей и первый редактор альмаваха «Огни Кузбасса», А. Н. Волошин бережно и взыскательно относился к каждому новому ростку, помогая ему набрать силу, подняться во весь рост.

Годы... Сегодня Александру Никитичу шестьдесят, и двадцать пять из них отданы литературе. Много это или мало? Наверное, и то и другое. Не все задуманное свершено, и духовных сил еще непочатый край. И новые работы его, — пьеса «Поклонись этой земле» и повесть «Смотрю в твои глаза», — что лежат на рабочем столе писателя, — свидетельство тому, что сил этих хватит не на одну еще талантливую книгу, что крепкий род сибиряков не зря всегда считался трехжилым.

Евг. БУРАВЛЕВ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР



390307

В номере

ВЕСЕННИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ. Заметки
И. Киселева с поэтического семинара . . . 3

Поэзия молодых

ВЛАДИМИР ПОТАШОВ. «Колода дров. В ро-
се, в озоне...» . . . 4
ЛЮБОВЬ НИКОНОВА. Тир. Родное. . . . 5
АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ. Метеорит. «Лист
осины пыласт...» . . . 6
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВСКИЙ. «Знаете, бу-
дем...». Летчик, бомбивший Хиросиму. . . 6
ГАЛИНА ЮРЬЕВА. «Будто три золотых по-
крывала...» . . . 7
НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ. «Проснешься ут-
ром...что откуда...» «Встанешь. И только руки
в воде...» . . . 7
АНАТОЛИЙ ШИШКИН. Окна фабрики. Моя
прямая. . . . 8

Проза. Стихи

ВИКТОР ЧУГУНОВ. Рубиновый материк. По-
весть. . . . 9
ИГОРЬ КИСЕЛЕВ. Вступление. Казашка. Мо-
литва лани в алма-атинском зоопарке.
Стихи. . . . 71
ЕКАТЕРИНА ДУБРО. Апельсиновое солнце.
Рассказ. . . . 72

Из дальних странствий

АНАТОЛИЙ БЕЛЬЧИК. Мои друзья живут в
Нограде. . . . 78

Редактор
В. М. МАЗАЕВ

**Редакционная
коллегия**

**А. Ф. Абрамович,
Е. С. Буравлев,
А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов,
Н. Н. Зеленин,
В. В. Махалов,
О. П. Павловский
(отв. секретарь)**

Адрес редакции: 650099,
Кемерово, Советский пр., 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи объемом до одного печатного листа не возвращаются.

На первой странице обложки
рисунок Н. Кофанова
«Лето».

Фоторепродукции с полотен
Н. Бачина и В. Зевакина
работы А. П. Князева.
Фотопортрет А. Волошина—
И. Бассардинского.
Фотопортреты молодых поэ-
тов — В. Грызыхина.

Ведущий редактор Т. И. Ма-
халова; художественный
редактор Г. И. Кравцов;
технический редактор Г. В.
Адова; корректор Т. Е.
Трусова.

Искусство.

ЗОЯ ЕСТАМОНОВА. Две выставки . . . 90

Слово — критике

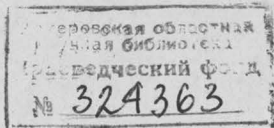
ЛЕОНИД ХАНБЕКОВ. Направление поиска.
(Заметки о рассказах кузбасских авторов). 99

Прошел... Увидел... Рассказал...

МАВРИЙ РЕЗНИК. Ошибка разведчика. Сле-
ды на воде. Сорока-воровка. . . . 109

Веселая минутка

ЮРИЙ СОЛОМОНОВ. Однажды... Сатири-
ческие миниатюры. 115
ГАЙНЦ ЛАУКНЕР. Глупые вопросы.
Ф. ЦЛИНИСКАЙТ. Феникс. КУРТ БИНДЕР
Рассеянность. Ф. НАХТИГАЛЬ. Все в поряд-
ке. Юмористические рассказы. Перевод с не-
мецкого ВАДИМА НАЗАРОВА. . . 117



Сдано в набор 10.VI.1972 г. Подписано к печати
18.VIII.1972 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская
№ 2. Усл. печ. л. 8,78. Уч.-изд. л. 9,24. Тираж 5000.
ОП00019. Заказ 4337. Цена 37 коп.

Кемеровское книжное издательство
Кемерово, Ногрская, 5.
Полиграфическое объединение «Томь».
Кемерово, Ногрская, 5.

7-3-2

32-M72

ВЕСЕННИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ

В середине апреля в Кемерове по инициативе писательской организации был проведен очередной семинар молодых поэтов Кузбасса. На этот раз участниками встречи стали начинающие литераторы, у которых не только нет еще собственных книг, но и творчество которых ни разу не обсуждалось на семинарах подобного рода.

Интересный факт: из восьми участников семинара четверо живут и работают в Новокузнецке и являются членами молодежного литературного объединения «Гренада», созданного при газете «Кузнецкий рабочий». Конечно, Новокузнецк — большой город, и молодежи в нем много, но тем не менее богатый поэтический «урожай», выращенный «Гренадой», лишний раз свидетельствует о пользе литературных объединений — если, разумеется, работа их налажена надлежащим образом.

Этот семинар по праву можно назвать семинаром приятных неожиданностей. Неожиданность номер один — стихи новокузнецчанки Любови Никоновой. Ей 21 год, она живет на Запсибе, учится на курсах стенографии. Стихи в этом возрасте пишут очень и очень многие, культурой стихосложения сейчас вряд ли кого-либо удивить. Но в творчестве Л. Никоновой привлекает ее умение профессионально, по законам строжайшей внутренней дисциплины построить стихотворение, точно отобразить и расположить детали. Это свидетельствует не только о поэтической одаренности, но и об определенной душевной зрелости, столь необходимой для творчества.

Стихи Владимира Поташова публиковались в республиканском журнале «Наш современник», появлялись в местной периодической печати. За ними угадывается нелегкая судьба человека, исколесившего чуть ли не всю страну, сменившего десяток профессий в неумном стремлении узнать жизнь наощупь. Язык В. Поташова сочен и богат, образы предметны, корни его поэзии уходят в народное творчество.

Кемеровчанин Александр Ибрагимов не первый год пишет стихи, хорошо владеет средствами художественной выразительности, язык его гибок и пластичен. Есть у него и еще одно весьма ценное качество — полная раскованность, свобода в обращении со словом. Но сложность у него нередко перерастает в нарочитую усложненность, вычурность. (В публикуемую ниже подборку А. Ибрагимов стихов не представил).

Интересную рукопись вынес на обсуждение семинара геолог Александр Родионов. По его стихам также нетрудно угадать и его профессию и его биографию. Как и всегда, когда в основу творчества положен жизненный опыт, стихи Родионова запоминаются точными и зримыми деталями, богатой фактурой.

Николая Колмогорова не назовешь новичком в поэзии. Несколько лет назад он, как мне кажется, был по горло погружен в чисто формальный поиск — экспериментировал с рифмой, ритмом, нередко забывая про содержание. Новая его рукопись позволяет сделать оптимистический вывод: поиски закончились, пришло время находок. Н. Колмогоров

пришел к простой и ясной форме. Определилась и его главная тема—красота и неисчерпаемое богатство русской природы. Немало добрых слов было сказано на семинаре в адрес Анатолия Шишкина, Николая Николаевского, Галины Юрьевой, хотя в творчестве последней, пожалуй, наиболее заметны недостатки, присущие молодым литераторам. Однако это вовсе не значит, что семинар проходил в атмосфере благодушия и всеобщего захваливания. Напротив, никому не удалось пройти сквозь кин-

жальный огонь семинара «без потерь», критика была достаточно строгой и нелицеприятной.

Удивляться этому не приходится—ведь вместе с ростом культуры стихосложения выросла и требовательность к стиху—не только как к законченному литературному произведению, но и как к методу выражения мироощущения, его нравственной позиции.

И. КИСЕЛЕВ

Владимир Поташов



Колода дров. В росе, в озоне.
Береста, что твоя слюда.
И только плюнешь на ладони
Да гукнешь—и держись тогда.

Летят поленья полукругом
И хмель берет не от вина,
Когда натянуто, упруго
Катает мускулы спина.

И глаз остер. И мускулиста
В прожилках крепкая рука.
Топор играючи, со свистом
Как всадишь в сердце чурбака!..

Поленья брызгают смолою...
И не нарадуется мать
И не нахвалится тобою,
Придя к обеду приглашать.

И вовсе не устанешь вроде,
Хотя и нажил волдыри,—
В охотку ведь —
в такой работе
Есть сладость, что ни говори.

Любовь Никонова



ТИР

Врезаясь в грубый наст нещадно,
Смерзался заяц, весь в крови.
И, льдышки с твердых лап счищая,
Я так хотела: оживи!

И вот в такой же день холодный
Меня отчаянно провел
Мальчишка, будущий охотник:
Он в детский тир меня привел.

О, бедный заяц!
Мрачным днём
Над ним скоробился навес...

Но, как в мечте моей давнишней,
Он после выстрела воскрес!
В него бесцельно попадали.
Перевернется — жив-здоров.

Он жил за всех собратьев дальних,
Погибших средь степных бугров,

За белых зайцев, за пятнистых.
На мушке, в метре от ствола,
Он поднимался дерзок, истов:
Еще раз — р-раз!
Еще раз—два!

За тех, в кого вонзились вилы,
Кого настиг заряд свинца,
Преподавал Косой впервые
Урок счастливого конца,

РОДНОЕ

Я помню руку ласковую мамину,
Она простышкой кутала меня.
А родина была такой же маленькой,
Как колыбелька детская моя.

Я помню двор:
Кричаще, ослепительно
Ходили куры, выпятив зоба,
А родина была уже вместительна,
Как этот двор и русская изба.

И год от года, постепенно,
исподволь
Мир расширял и двигал рубежи,
И доверяла родина мне исповедь,
В которой все явления свежи.

И с каждым разом, если что-то
пройдено,

Я думаю все чаще и ясней:
Чем больше человек —
Тем больше Родина,
А значит —
и понятие о ней.

**Александр
Родионов**



МЕТЕОРИТ

Как он влетел, проделав трудный
Полет к Земле, ища тепло?
Он стукнул тихо, словно блудный
Сын,

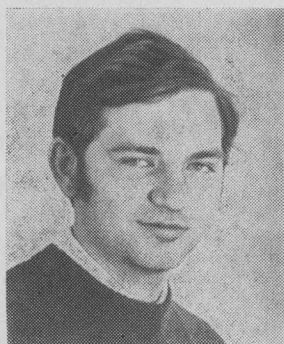
об оконное стекло.
Оплавленный,
Сквозь пыль галактик
Пронес, упав передо мной,
Железокаменный характер
С метеоритною судьбой.
В каких он не был
переплетах?

В каких скрещении орбит..
Как продолжением полета,
Я размышлением обвит.

Лист осины пылает,
Как моя борода.
Где-то осень впылывает
В города, в города.
Где-то кот у окошка
Намывает гостей.
Красный листик рыбешкой

Бьется в сетке дождей.
Чаще птиц совещанья
Предвечерней порой,
А журавль на прощанье
Обронил мне перо.
Как подарок осенний
Я его принесу.
Пес мой дремлет на сене,
И зима на носу.

**Николай
Николаевский**



Знаете, будем
вежливы к людям,
вежливы к дядям,
вежливы к тетям,
нежными к детям.

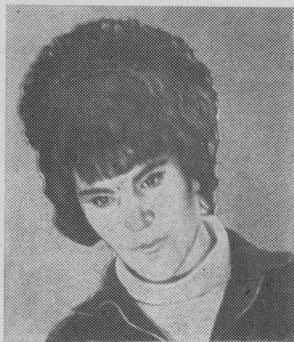
Знаете — будем,
Слышите — станем
Ближе к усталым,
Мягче к сутулым,
Свет им добудем.

Знаете, будем!
Слышите — станем!

ЛЕТЧИК, БОМБИВШИЙ ХИРОСИМУ

Я выжил из ума.
Подняться выше?
Моя душа — тюрьма.
Я болью сердце выжег.
Все умерли — я выжил,
Я выжил из ума.

Галина
Юрьева



Будто три золотых покрывала,
Я у счастья три ночи украла.
Лишь три ночи,
Всего три ночи
Я пила колдовское питье
И на три золотых замочка
Сердце навек закрыла свое.
Как сумела?..
Не буду рассказывать.
Я не знаю, где ты,
Как живешь.
Только знаю я,
Мой синеглазый,
Что за ключиками —
Придешь,

Я уверена в этом очень —
Потому до сих пор ничья,
Хоть давно утекли те ночи
В тридцать три
Хрустальных ручья.

Николай
Колмогоров



Проснешься утром... что откуда!
Спросонок сразу не поймешь.
Стоит холодная посуда,
и по столу струится нож.

Каким-то пологом нездешним
завесил иней полстекла.
Ни о каком предмете внешнем
еще не вяжутся слова.

И мысли, если не случайны,
не откликаются на звук,
когда на ниточке молчанья
уснувший лепится паук.

Встанешь.
И только руки в воде
вытянешь под гнутые струи,
как тихо-тихо, еще неведомо где,

за огородами
осень подует.
Красиво это.
И луну качнет
в заводи настекленевшей речки...
И рано-рано
до самого света встает
дедушка и разжигает в печке...

Ему теперь
оглядывать двор
через окно
серебряной замяти...
А я возьму
заиндевелый топор
и пойду за дровами,
по старой памяти.

Анатолий Шишкин



ОКНА ФАБРИКИ

Первозданность того, что заметил,
Остается во мне до сих пор...
Окна фабрики смотрят, как дети —
Так же пристально, так же в упор.
Вот, бывало, не выдержат нервы
После всех передрыг и помех,
И готов хоть на север, где нерпы,
И гори он огнем, этот цех.
Но уходишь домой на рассвете,

Обернешься — и в горле комок:
Окна фабрики смотрят, как дети,
Будто просят, чтоб в чем-то помог.
Тихо просят — под солнцем искристы,
Беззащитностью детской сильны.
Цех, мой цех, беспокойная пристань,
Я не знал тебе верной цены!

МОЯ ПРЯМАЯ

Все близко к сердцу принимая,
Я рано, может быть, сгорю.
Но даже эта ночь немая,
Что заслонит мою зарю,
Ни в чем меня не разуверит
И не вольна предостеречь:
Все буду той же мерой мерить,
Себя, как шнур бикфордов, жечь.
Чужой обидою винась,
Опять бессонными ночами
Я над собой теряю власть...
У каждого — своя прямая,
И свой маяк на берегу.
Живу, все к сердцу принимая.
Иначе — просто не могу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Виктор
Чугунов

В декабре 1962 года после жгучей стужи нашла в предтаежье ростепель: ее пригнали с Каспийского моря ураганные сырые ветры. Разжижел снег, залепил мокрыми хлопьями оконные стекла, серой свинцовой кухтой пристал к тополям, вокруг труб и на неровные огородные заплотцы. Небо, взбученное и низкое, в угарной злобе роняло на землю вихри: они рвали хлябную накипь с опустевших улиц, с корявого аэродромного поля за поселком, с приземистых крыш, взметали ее над округой, студили и опускали снова за домами,

Рубиновый материк

ПОВЕСТЬ

в овражках, по скатам недалеких плечистых угорий.

От непогоды замер Ортонский аэродром. Зачехлили нос единственного самолетика. Экипаж ушел отдыхать. Несколько пассажиров, застрявших здесь нежданно-негаданно, проводили время в поселковской «обжорке».

Среди них был один, человкий, с прямыми плечами, молодой человек. Бросались в глаза его редкие стоячие волосы, уши-лопухи, вогнутые щеки, рыжеватая татарская щетина на подбородке и над углами маленького рта. Молодой человек пил вино в пустом темноватом углу столовой, пил нехотя, от безделья, смотрел из угла скучающе, иногда читал книгу. Опорожнив бутылку, он шел в магазин за следующей, оставив на окне серенький затасканный чемодан.

Прошли сутки — погода не становилась.

На другой день после обеда в «обжорку» нагрянули поселковские парни-работяги, внеся за-

пах урагана и мазута, зашумели в другом углу за раскидистым фикусом, звеня бутылками. Взорвался к потолку папиросный дым; заругалась раздатчица, молодуха с белыми пушистыми волосами. Откуда-то вынырнули три девчушки и подсели к парням. Закипело веселье.

Они умели веселиться, эти парни, потому что не часто, видимо, удавалось вырвать время на веселье; обнимали девчонок, танцевали, подпевая сами себе. Молодой человек следил за ними из своего угла, завидуя их горячим задубелым лицам, жестоким и стыдным словам. Парни не обращали на него внимания.

Часа через полтора, едва засмеркалось, в столовую пришли еще двое — мужчина и женщина. Мужчина был в стеганке, плечист, лицо поджарое, красное, мокрое, с воспаленными глазами. Женщина возрастом старше, лет под тридцать, тоже в стеганке, грудастая, сильная, глаза круглые, птичьи; на прямом лбу челка — три сосульки; закурила.

— Санька! Харитина! — закричал здоровяк парень из компании, увидав пришедших. Все всполошились, встали. Одна из девчонок бросилась навстречу Харитине.

— Харитинушка, милая ты моя... Харитинка...

Парни окружили друга.

— Привет, Санюха, привет... Откуль взялся? Сейчас только вспоминали — Родионова бы сюда...

— Спасибо, ребята... — Александр вытер шарфом лицо, поздоровался с каждым за руку, двоих обнял. — Тесен мир, друзья мои, очень даже тесен... Я к вам мимоходом. А вы гуляете? Неплохо придумано. Разрешите граммалечку пропустить?..

Глотком опорожнил стакан, рукавом стеганки коснулся губ и кивнул в сторону Харитины:

— Тоже плесните маленько — пусть согреется: промокли насквозь. Погодка, держи ее за ногу...

Казалось, веселье будет продолжено. Молодой человек подумал в своем углу, пряча в карман книгу: «А не пристроиться ли мне к их компании: все быстрее время пройдет». Но решение принять не успел — за фикусом снова заговорил Родионов, обронив на стол кулаки.

— С просеки к вам... с ЛЭПа... Снег налипает на провода. Есть обрывы. Несколько мачт накренилось... Трактора надо, парни...

— Какие сейчас трактора, Сашка? — засмеялась ближняя к нему девка, пьяно улыбаясь и протягивая Родионову руки. — Катись они к черту, трактора...

— Ты что это, Люська, — тут же вмешалась Харитина, — никак назюзюкалась?

— Я, Харитинушка, неподотчетная...

Родионов поднялся, убрал стул.

— Позарез нужны трактора... Сейчас все управление на линии. Убираем с проводов снег... Придется ехать... — он говорил тихо, спокойно, не заискивал и не угрожал, только слова сами собой выходили

тревожные: может быть, от усталости и холода, а, может быть, и от привычки говорить прямо и честно. Молодому человеку понравился его уверенный голос. — Я знаю, вам неохота..., но идти придется... Сами понимаете...

Затихли парни, колючие, ошарашенные; смотрели друг на друга недобро: кто первым согласится? Кто идейный? Давай на круг... Кажется, никто особого желания не проявляет... Катись она, эта ЛЭП... Кому надо...

Тишину нарушила Харитина, сказала низким простуженным голосом:

— К кому мы обращаемся, Сашка? Да это волдыри...

— Ничего, — отозвался Родионов. — Это они медлят с капризу... Сейчас поднимутся, и... пойдет плясать губерния... Так, что ли, парни?

— Гладь, давай, гладь, — выдал один — глаза в землю. — Нас не прогладишь. Думал, человек пришел...

— Точно... Без пользы, — подхватили сразу.

— Пусть господь поработает, мы поработали...

— Ты, Санька, не финти... Тебе надо, ступай и делай.

Родионов переждал крики, вздохнул.

— Вместе пойдем... Там разберемся — кому надо, а кому не надо...

Молодой человек улыбнулся в своем углу: он знал, что парни сдадутся — чувствовали силу и упрямство Родионова. Что, интересно, за человек? Откуда? Чем занимается? А не махнуть ли мне с ними? С тоски же здесь пропаду, если не на шутку занепогодило...

Подошел к парням.

— Мне с вами можно?

Родионов мельком взглянул на него.

— Всем можно...

И приятельски коснулся чужого локтя.

Три дня стоял на окне «обжорки» серенький чемодан, а его хозяин, молодой человек с татарской щетиной, вместе со всеми мок на пронизывающем ветру, лазил на мачты, качался в бадьях, убирая с проводов наледь, отогревался у тракторов. Он думал о многом, но больше всего о том, чтобы не отстать от других, чтобы не сделать меньше, чтобы не дрогнуть, не убежать. Сам же напросился — человек вольный, хочу работаю, хочу не буду. Снег укрывал лицо, слепил глаза, набивался в уши и холодными стёками убежал под рубаху. Провода с налипшим снегом отвисли, будто длиннющие березовые жерди, протянутые с опоры на опору, гудели сипло и глухо, грузно качались. Посудину било ветром, грозило перевернуть, но ни один человек не ушел с высоты прежде времени. Ни один не решился позволить себе такого... Нельзя было позволить... Вон у соседней мачты качается в своей корзине бесстрашная Харитина. Ей, должно быть, тоже холодно, но она продолжает работать с удивительным ожесточением и неутомимостью. А дальше, на обледенелой мачте, черным пятном затаился Родионов, привязывая сорванные изоляторы. Ему холодно или не холодно? Страшно или не страшно? Но он работает,

терпит... Если можно терпеть, значит, терпеть надо... Парни тоже делают свое дело — куда и хмель задевался... Вон один кричит снизу:

— Эй, слазь — перекур... Еще живой?

Ураган затих в ночь, когда покрепчал спустившийся с гор мороз. Утром взошло солнце, обдав желтизной ледяные дороги, крыши домов, аэродромное поле. Пришел экипаж. Расчехлили нос самолета. Молодой человек принес из столовой серенький чемодан.

До вылета оставалось два часа, когда на аэродроме появился Родионов.

— Пришел проводить, — сказал парню, сжимая его костлявую ладонь. — Ничего? Мы так и не познакомились...

Молодой человек смутился, потупил глаза, вдруг озяб.

— Это вы совершенно ни к чему придумали — беспокоиться... Поди, едва на ногах стоите?

— Я привычный... Значит, так — Александр...

— Виктор!.. Я, честное слово, считаю, можно было бы и не прожывать...

— Оставь, пожалуйста... я знаю, что делаю... — тоже неловко переступил с ноги на ногу, спросил забывчиво: — Улетаешь, значит?

— Да вот, как будто улетаю...

— Ну, счастливо долететь... Спасибо за помощь...

— Стоит ли? Пустяки...

— Это ты напрасно, дружище, — Родионов ободряюще тряхнул Виктора за плечи. — Может, присядем где-нибудь, посидим?

Они сели на лавку у печки, в служебном домике. Прямо перед ними висел плакат: «Летайте на самолете — удобно, быстро и дешево!». Пахло теплой сладковатой гарью. В печке шумно трещали смолистые пихтовые дрова.

— Откуда сам-то? — спросил Родионов.

— Из Кемерова...

— А к нам зачем?

— Брата навестил... Он в совхозе работает, агроном... И вот тебе — непогода. — Виктор почесал надоевшую ему щетину.

— Бывает... В Кемерове-то учишься?

— Учусь...

— Видать... А я вкалываю...

— Здешний?

— Какой здешний? Не-ет, приبلудший... Брожу по родной земле: ищу себе чести, а князю славы, как говорят...

— Жена-то, небось, отдыхает, а вы со мной...

— Харитина-то? Это не жена... Родственница какая-то — седьмая вода на киселе. У меня жены нету... С женой на моей службе несподручно...

— Я думал, жена...

— Многие думают, — Родионов помолчал и скупой улыбнулся. — Хотя одно время и могла быть... Харитина — женщина добрая... У нее душа — позавидовать можно... — Александр внезапно оборвал себя, махнул рукой. — Старая история, между прочим... Ну ее к черту... —

Но сам не выдержал и начал рассказывать.— Она вообще-то давно меня преследует... Любит, что ли... Еще с пацанов...

Незаметно обоим стало тепло от встречи, и Виктору и Александру. Каждому хотелось, чтобы другой оказался хорошим человеком, близким, умным, каким был вчера и позавчера, мужественным, стойким, потому что вдали от людей, на пустом обживаемом месте, от тяжелой работы и неуютной жизни особенно хочется прекрасного, собранного и чистого. Хочется возвышенного и человеческого, хочется веры в добро и святость. Александр медленно втянулся в рассказ и вел его незатейливо, с грустью, будто пел что-то любимое и неотлучное. Он ничего не анализировал и ни на что не жаловался. Потому что этого вовсе и не требовалось: его жизнь необходимо становилась красивой и целенаправленной. Виктор не заметил, как промчалось два часа и надо было лететь. Он прощался неохотно, обещал написать. Позднее, в самолете, он испытывал упоительное возбуждение, глядя в иллюминатор на тень самолета, скользнувшую по увалам, он верил в нескончаемую красоту жизни, верил, что она сплошь заполнена друзьями, надо только самому научиться быть другом. Он перебирал в памяти Сашин рассказ, наполнял его добрыми песенными словами, украшая непомерными достоинствами, как это делают влюбленные, вспоминая о предмете своей любви.

Сто с лишним лет назад мой дед Семен Родионов, малороссийский пахарь, покинул деревню на Солодовском обрыве, на плоту переправился на Волгу и, до крови сбивая ноги, сквозь Урал и мочажины Васюганья достиг отложин голубого Алтая. Говорили, поначалу словчился воровать коней, потом батрачил. Потом плавил руду на Колыванских заводах. Но однажды, на пасху, силой отнял у рабочего Парфенова Клавку, синеглазую, осадистую, как копна, бабу, ушел с ней в Кулундинскую степь, засек хутор, обладил хозяйство и стал делать синеглазых осадистых ребятишек, живя по-сибирски скрытно, зажиточно и влюбле.

— Я жизнью удовлетворенный, — говорил он после, глядя из-под низких густых бровей.

Моему отцу хозяйство на ум не шло. До смерти загнал он породистого жеребца, которого Родионов-старший выменял на хлеб и которого особо любил. Обозленный дед исклестал сына вожжей. Отец в отместку пуще замрачнел, ушел в тепляк и жил там, прячась, собакой. А когда спина зажила, по пустякам растравил деда Семена, огрел его оглоблей и сбежал.

Отец плавал по Енисею, добрался до Байкала и Маньчжурии, но вернулся, подобрал бездомную Ленку Пушкиреву и дотянул до революции, сплавливая по Томи лес.

В гражданскую стал драться за тех и за других. Сначала за белых, потому что красные «соблазнили» Ленку, будущую разведчицу партизанского отряда: она ушла с ними в тайгу. Потом дрался за красных, потому что хозяйства у него не было и терять было нечего.

Но у красных воевал недолго: переборщил, ворвавшись в кержацкую деревню; от расстрела сбежал. Возвратясь к белым, во злобе посек шомполом урядника — поссорились из-за чего-то — и скрылся на бывших копях Льва Михельсона. На беду, копи вскоре закрылись, и отец снова застрял у белых. А потом затерялся.

Оказалось, после войны ушел в тайгу и жил одиноко в верховьях Мрассу. Жил, пока не осточертело одиночество. Смирен и тих стал бородатый синеглазый мужик, видно, и к нему ожесточенной болью подступили людские мысли о нормальном житье-бытье. В сорок лет спустился на салике в низовье, сосватал у охотника Аверкина дочь, хрупкую, с пшеничной косой певунью, породил с ней меня, отстроил домишко и зажил ладно, проголосовав за Советскую власть.

— Чего я мызгался, дурак? — бывало говорил он, держа меня на коленях. — Радость-то какая — жить при людях.

Он погиб в сорок третьем.

После войны мать перебралась в город и работала в шахтерской прачечной. Это была добрая и мягкая женщина. Не раз, бывало, собирала она в доме грязных голодных поселковых ребятишек и кормила ботвиньей. К себе же взяла старую-престарую бабу Клаву. И когда баба Клава болела, мать ночами не спала, все переворачивала старуху и поила чаем. По религиозным праздникам ходила в церковь и на кладбище, одаривая нищих последними копейками.

Я помню, она часто работала на чужих огородах, помогая соседям. Приходила усталая и перед сном пела мне старинные песни.

Вечор поздно из лесочку
Я домой, домой коров гнала.
Лишь спустилась к ручеечку,
Ближе к самому ручью.

Вижу, слышу—едет барин с поля:
Две собачки впереди,
Два лакея позади...

Я рос послушным. Когда пошел в школу, учился исправно. И все искал на скрипучем истертом глобусе дедов хутор, вместе со мной тыкала в «кругляк» скрюченным пальцем баба Клава. Она говорила, что сперва надо найти Лебяжиху: там дворов сто было — деревня большая, а от Лебяжихи озерами верст пятьдесят. В тех краях «каждый хозяин знает, где жил Семен Родионов».

В четырнадцать лет на Иванов день, когда загустели сумерки и девки с парнями перестали обливаться водой, я укрылся в полыньнике у заплота и поймал соседскую девчонку Галку Бубнову. Связав ей руки, я увез ее в тальник на тележке, но потому как не знал, что с девчонкой делать, отпустил, пригрозив кулаком. Галка нажаловалась матери, меня заперли дома.

— Еще что придумал, стервец этакий, — ругалась мать, пряча смеющиеся раскосые глаза.

Наш Базик, окраинный городской поселок, жил тихо. Люди пришли сюда после войны. Еще стояли невыкорчеванные пихты. Но дворы рано и густо затянуло полынью, внесенной сюда вместе со скарбом. Полынь была терпкая, масляная; мы прятались в ней и жевали светло-зеленые противные стебельки. У железной дороги дымилась баня. А за поселком, на вырубках, краснела двухэтажная школа. Она смотрела дверями в Базик, и на ее крыше в ветреные дни плескалось красное знамя.

В Базике каждый знал друг друга. Бывало, соберутся у бубновского дома и судачат напропалую.

— Да кто так живет, язви их? Ведь копейка счет требует. Огород там вырастил или что... А кума как? Ей все не в счет. Пойдет, расфуфырит денежку-то, а потом занимается...

О нашем соседе дяде Афоне Громове рассказывали анекдоты. То его хмельняки давят, то в бане чуть не до смерти запарится, а то — несколько лет назад — пошел на базар купить корову: вернулся поздно и пьяный, вытряхнул из мешка коровью голову и четыре ноги и прошамкал взревшей тете Дусе, жене:

— Ничего, баба, не ной — по частям купим...

Все знали, что старик Бубнов, Галкин дед, всю зиму крал кирпичи на стройке и складывал за избой. По весне его поймали и судили в школе большим судом, но простили, потому что никак не могли взять в толк, для чего он это делал. Теперь, собрав стариков, дед хвастал судимостью. Над ним смеялись, а он матерно ругался и много дымно курил.

Галкин отец и мать по праздникам любили выпить, и всякий раз после выпивки тетя Маруся дразнила мужа, будто изменяет ему с Исупкой татарским и нынче непременно уедет в Америку. Дядя Вася неумело, но потому зло и настойчиво бил ее. Тетя Маруся убежала, спала у соседей, но рано утром возвращалась и вместе с мужем бралась за хозяйство как ни в чем не бывало.

Бубнов работал на шахте забойщиком, а на «мужицком сидении», когда под вечер тихо и мужики кучились у бубновского дома, спорил о сельском хозяйстве.

— Дай мне, я что хошь выращу... Вон Серафонтов. У него как конец лета, так помидор девать некуда. Да и о себе ничего не скажу, все ладно. Потому что за огородом смотреть надо. И за полем. Если за ним смотреть да руки прикладывать, на наших полях можно черта с рогами вырастить...

— Уж не скажи, — возражал дядя Афоня Громов. — Окромя картошки, ничего не пойдет... Помидоры твои не земля родит, а хребет твой...

— Пушай хребет, — соглашался дядя Вася. — Ты как думал — без хребта? Без хребта и детеныша не зародишь...

У меня был приятель Ванька Серафонтов. Неутомимый проказник, он стрелял в мужиков из рогатки. Мужики его не любили и, случалось, драли за уши немилосердно, однако Ванька не обижался. Он тут же смеялся и показывал мужикам острый белый язык.

Однажды Ванька до беспамятства напугал деда Бубнова. Это случилось взатемь, на исходе весны. Тогда по поселку ходили слухи, будто Марфа Стрельникова, удавившаяся на сеновале два года назад, оборачивается нечистой силой, чаще псом, и шляется по дворам. Наша баба Клава говорила, что достоверно видела Стрельничиху в бубновском дворе.

— За охульником приходила,— баба Клава тыкала скрюченным пальцем в деда Бубнова.— Искурился весь, бесстыдник. Приберет тебя Стрельничиха, истинный Христос...

Ванька, имевший дружбу с поселковыми собаками, как-то отвязал бубновского кобеля, а сам залез в конуру. Старик Бубнов вынес собаке чашку с супом и встал у заплота облегчиться. Ванька поскреб ногтем о высокий дедовский сапог.

— Не балуй, Тузик,— сказал дед Бубнов, но вдруг увидел на земле распростертые руки и упал.

С тех пор старик Бубнов ночью на улицу не выходил.

Обо мне говорили настойчиво, будто я «пытался снасильничать бубновскую Галку».

Галка в шестнадцать лет стала красивой девчонкой. Лицо округлилось, порозовели щеки, в глазах отвердела важность, походка вышла живая, а пройдет рядом — не слышно.

Как-то она не уступила мне дорогу.

— Ты чего? — сторонясь, удивился я.

— Ничего,— ответила Галка и гордо прошла мимо.

А неделю спустя я зашел к Бубновым и застал ее в сенях по пояс голую, с намыленной головой и зажмуренными глазами.

— Мать за тяткой прислала,— сказал я.— Вечно не принесете...

Галка завизжала и прикрыла грудь мыльными руками.

Я вышел, отыскал в кладовке тятку, скалясь, ткнул черенком в сенные двери и прыгнул через заплот. И пока был с матерью на огородах, все стояла передо мной раздетая Галка.

После девятого класса я устроился на лето работать. Однажды Галка встретила меня и спросила:

— Нравится, Гуня? Работать нравится?

Она давно звала меня Гуней.

— Не очень...

— Лентяи вы все Родионовы... Мамка говорила, вы в деда. Дед у вас спасу нет какой лентяй был. Он только лошадей и крал...

— Ладно, иди...

Галка прищурилась, подняла голову и прошла, раскачивая широкую юбкой.

Через полмесяца на именинах у Ваньки Серафонтова стали играть в «почту», и Галка прислала мне записку: «Гунька, ты с кем дружишь?».

Я вышел за ней на улицу.

Галка встала у заплота, опустив руки. Бретелька сарафана скатилась с ее плеча. Согнув ногу, Галка стучала каблуком по заплоту и смотрела в землю.

— Зачем вышел? — спросила она.

— А ты зачем вышла?

— Вышла и все...

— И я вышел и все...

Мы замолчали.

— Иди с Веркой переписывайся, — снова сказала Галка.

— Я не переписывался...

— Она же на два года старше тебя, — Галка перестала стучать по заплоту и подняла голову. — Вон она какая толстая. А еще будет толще. У нее мать сто тридцать два килограмма. И еще не скажу тебе, какая Верка...

Поправив бретельку, Галка забежала в дом.

Вечером я позвал ее в кино.

Галка собиралась долго. Я ждал, сидя на лавке. Дядя Вася, Галкин отец, жердью распутывал электрические провода и ворчал:

— Разве улица стадион какой? Это на стадионе пинать мяч решается. А на улице? Тут тебе и провода, и окна, и огород снова... Придется уши трепать...

Я сказал, что это машина с сеном проехала и запутала.

— Знаю я эти машины, — опустил жердь, продолжал дядя Вася. — А вчера? Вчера кто запутал? Кто тут футбол гонял? Я вот тебе впредь уши надеру и Галину из дома не пущу, тогда узнаешь...

Распутав провода, он ушел. Галка выметнулась из огородной калитки, и мы побежали вдоль заплотов.

Во время сеанса она положила руку на мое колено.

Это было так неожиданно, что мне показалось, будто Галка ошиблась: она хотела положить руку на свое колено. А сам задыхался, сидел, затаясь, точно боялся спугнуть сладостное наваждение.

Из кино мы возвращались за полночь. На улице Профинтерна горели огни. Тускло светились струйки в звездном небе. Взошла луна. Сторож в светлой кепке и плаще спал на крыльце универмага, склонив голову и зажав под мышкой ружье.

Галка перешла на другую сторону улицы в густую вязь тополей и сорвала лист.

— Умеешь стрелять? — спросил я и, сорвав лист крупнее, хлопнул.

— И ты не умеешь, — сказала Галка.

— Не получилось.

— Ты хвастун, Гунька, — она сняла туфли и пошла босиком. — Ты всегда был хвастуном, Гунька. Помнишь, собирался переломать мне ноги?

— А не доставалось тебе?

— Тебе тоже доставалось, — сказала Галка. — Помнишь, я тебе камнем разбила голову? Это я нечаянно, Гунька. Я не хотела, но так получилось...

— Это давно... Теперь я тебе мстить не буду... Пусть тебя мать лупит.

— Меня мамка не наказывает, — ответила Галка. — Она говорит,

что я большая. Мамка мне уже и жениха нашла, Апрельку татарского. Говорит: из тебя все равно, Галка, ни шиша не выйдет. Будешь детей рожать, и то слава богу...

— Ты нарожаешь...— я вытер о штанины вспотевшие руки.

— А что?— Галка посмотрела на меня.— Выйду за Апрельку за муж и буду жить-поживать. Плохо, что ли?

Из тени тополей выступил Ванька Серафонтов.

— Дружите, да?

— В кино ходили,— ответил я.

— Что это вы по светлу ходите? Мы с Веркой запростяк в темноте сидим...

— Ну и сидите,— сказала Галка.

— С ней обжиматься первый сорт,— Ванька притопывал босой ногой.— Не то что с тобой, мормышкой...

— Иди, помидорами торгуй,— Галка поджала губы.

У Галкиных ворот мы долго стояли. В траве валялись ее туфли. Луна светила в лицо. Синью отливали Галкины брови, глаза и волосы. Она прижала руки к груди, а сама легонько стучала пяткой по заплотной доске.

— Ты не обижайся, что я Гунькой тебя зову,— сказала Галка.— Мне нравится так называть. Я по-дружески. Мне хорошо с тобой. Почему тебя Гунькой прозвали?

— Собаку на петлю поймал: Ванька научил... Она меня покусала, гундел...

— А мне говорили, что ты речку хотел переплыть в корыте и напугался...

— Утонуло тогда корыто,— признался я.— Еще мать меня выпорола... Я нагишом стоял, а ты в окошко подглядывала...

— Прям, подглядывала...

— Но Гуней из-за собаки прозвали. Серафонтов,— снова сказал я.

Мы замолчали, услышав скрип ворот. Кто-то кашлянул возле соседского дома. Потом вышел на свет дядя Афоня Громов.

Он был в пимах и белой незаправленной рубаше. Постоял, роняя длинную тень, вернулся к воротам, позвякал щеколдой. К нему с крыши спустился котенок и лег на траву. Громов матюгнулся.

— Опять пьяный,— сказала Галка.— И чего он пьет?

— Разве узнаешь...

Она выставила нижнюю губу.

— Детей у него нет, поэтому и пьет...

Громов вышел на середину улицы, неожиданно упал в траву, седую от лунного света, и пополз. Полз он тихо, волоча правую ногу. Возле колодца вскочил, сделал стремительный рывок, плюхнулся в грязь за колодезным срубом и закашлял сухим кашлем.

От колодца он тоже полз, но увидев Галку и меня, поднялся.

— Где немцы?

— Какие немцы, дядя Афоня?— спросила Галка.

Громов постоял, глядя себе под ноги, и вдруг напрягся, глаза округлились и сморщились губы.

— Чего? — шагнув к Галке, просипел он. — Полицаи?..

Я схватил Галкины туфли, и мы забежали во двор, а за оградой Громов зашел:

О-о-о-о...

Я залезу на нее,
На лошадку маленьку,
На кобылку кареньку.

Галка увела меня за дом, где было темно. Она взяла мои руки и зашептала, прижимаясь к стене:

— Мы будем с тобой дружить, а? Будем?

Я стоял неподвижно. Было стыдливо-приятно. На улице лаяли собаки, разбуженные Громовым. Дядя Афоня кричал за домом, чтобы собаки успокоились и перестали лаять. Он называл каждую собаку по кличке и бил камнем по заплоту.

Этой ночью я ворочался на кровати и не мог уснуть до тех пор, пока не сказал себе, что я люблю Галку.

Истертый глобус затерялся на чердаке. Но я видел во сне, будто мы стоим перед ним и Галка показывает пальцем на красную точку.

— Я нашла, Гунька! Нашла!

И я смеялся, счастливый.

На другой день старик Бубнов ругал дядю Афоню:

— Ты пошто, злодей, спать не даешь? Не посмотрю, что ты на фронте был. Ты у меня будешь порядок знать. А то стучит и стучит...

Громов отрицательно качал головой.

— Не я, дед. Я спал. Это мой дух. Он отрывается от меня и ходит. Ей-богу, не вру. У тебя есть трешка похмелиться?

— Ты чего врешь, чего врешь? — кричал старик. — А кто частушки матерные распевал? Дух-то молчком ходит. Ты мне сказки не рассказывай...

Громов со стоном опустил на бревно и зажал в руках взлохмаченную побитую голову. Старик Бубнов разом поник.

— Плохо, что ли, Афонька? Плохо, спрашиваю, что ли?

— А чего хорошего-то?

Я следил за ними со двора. Старик Бубнов сел рядом с Громовым, сложил бурые руки на батожок, а сверху прилег сивой бородой. Лицо у него стало маленьким. Старик смотрел в землю и шевелил редкими бровями.

Это было рано утром. Только взошло солнце. Влажной свежестью несло с огородов. Курились дымки над Базиком. Трава во дворе была густо-зеленой. Громовский дом напротив будто выпрямился, белел на солнце. И над тихим утренним миром блистало резкое голубое небо.

Я улыбнулся всей этой земной красоте, потому что вспомнил — люблю.

Днем пришел Ванька Серафонтов. Он сел на колоду во дворе и опустил меж ног загорелые руки.

— Ладно, ты прости за вчерашнее, я больше не буду, — сказал он. — Я нарочно вас поджидал... Думал, вы так...

Он вытащил из кармана нож, подобрал щепу и стал выстрагивать человеческую фигуру. У фигурки были взбитые волосы, покатые плечи и тонкая талия.

— Брошу школу, Санька,— сказал Серафонтов.— Пойду вкалывать...

— Известки наелся или так одурел?

— Буду жить как хочу... Без помидор...

— При чем помидоры?..

— Батан торгует, а на меня косятся.— Он помолчал и закончил.— В общем, вот так... Мы с тобой не маленькие... Сам знаешь...

Я смотрел на него с удивлением.

...Лето пролетело как во сне, лето 1954 года. Страна говорила о целине, ожидалось что-то большое и важное. Все собирались куда-то ехать и что-то творить. А в Базике, как и в прежнюю осень, дул мокрый ветер, раздевая тополя. Дымные облака царапались о макушки пихт. Волгли крыши, утрами покрываясь синим инеем. Из Базика некуда было ехать: таежная целина была рядом, за школой.

Осенью занемоглось маме — простыла. Кутаясь в полушубок, она поднимала с подушки голову и слабым голосом повторяла:

— Одному, сынок, нынче картошку копать придется... Одному.

В Базике копали картошку дружно. Раным-рано высыпали за ворота люди. Толкались, перекликивались, на дорогах повизгивали сабаки. Едким белесым дымом топились летние печи: хозяйки подогревали пойло скотине. Громыхали тележки. Над домами стая за стай проносились галки с веселым гортанным криком.

— Не встала сама-то? — спросил меня дядя Вася Бубнов, когда я вывез свою тележку за ворота.— Вливайся к нам. Подмогнем, ежели что... Хозяин, значит?

Я кивнул.

Галка шла с родителями, и я не отрывал от нее глаз. Она была в сапогах и новой зеленой стеганке. Черные волосы выбивались из-под платка. Угlistые брови гордой дугой охватывали глазницы.

Старик Бубнов всю дорогу бойко рассказывал, как влюбился в свою старуху-покойницу.

— Эх, я был какой, — молодецовато подпрыгивал он, разводя ссохшие плечи. — Коса сажень. За мной девки табунами бегали... Уж Грунька вокруг меня повертелась...

У нашей межи Бубновы остановились, и дядя Вася сказал мне:

— Забирай Галину, а то что один-то... Одному несподручно.

Галка обрадованно вспыхнула.

Пестрое жухлое поле заполнилось черными снующими фигурками. Запахло остывающей сухой землей. Воздух был розовый и лежал тугим пластом. Над полем звенели птицы. Людские голоса будто отдавались в земле.

Мы с Галкой работали молча и торопливо. Она взбрасывала на меня глаза и ласково смотрела, будто ждала чего-то. Ее маленькие, в черных перчатках, руки копались в лунках, вырывая крупные белые картошки. Галка, не глядя, бросала картошки в ведро.

— Почему мы молчим? — вдруг спросила она.

— Чего ж говорить? — ответил я. — Хорошо и молчать...

— Ну, уж и хорошо. Нет, Гунька, я не люблю молчать. По-моему, говорить лучше. У нас дедушка говорной, хорошо. Его хлебом не корми, а поговорить дай. Бабулька, говорят, его за язык лупила. Честно, по-настоящему лупила. Как заболтается, она конскую упряжь снимает и полосует его чем зря...

Наперед отрыв несколько гнезд, я ссыпал выкопанную картошку в мешок.

— Давай поклянемся, что всегда будем вместе, — предложила Галка. Но, подумав, вздохнула. — Хотя это ни к чему: мы и так будем вместе.

Она молчала недолго.

— Если бы у нас был аэроклуб, я бы стала летать. Хочется чего-то такого, чтобы сердце колотилось. А тебе охота летать?

К нам подошел Громов.

— Вот история, — сказал он, растерянно опустив руки. — Не могу делянку найти. Прошлый раз на окучивание приходил, пьяный, нашел, а сейчас убей меня бог, не могу.

Тетя Дуся Громова ругалась на соседней меже.

— Сама бы и занималась, — отвечал ей дядя Афоня. — Нашла работника... А теперь не ворчи... Выкопают все — наша останется... И найдем...

Галка смеялась до слез. Пряча в ботве лицо, она протягивала мне руки, плечом вытирала со щек влажные дорожки.

В полдень закалили костры.

Галка утянула меня в ложбину собирать хворост. Там, в густом ивняке, затаилась прозрачная тишина, с кустов свисала паутина. Рыжая трава пахла душистой сушью, дыбилась у кустарника, а на чистом месте лежала, темнея бурыми старческими залысинами. На одиноком тополе, в стороне, свистела редко и глухо щеглиная пара.

— Почему он такой чудной? — спросила Галка, вспомнив Громова. Она бросила на бутор охапку хвороста и поправила платок. У нее румянились щеки и под густыми ресницами влажно мерцали зрачки.

Я подошел к ней.

— Что это ты? — отступила она. — Что так смотришь? Гунька, скажи мне...

Я не мог шевельнуть языком, только смотрел на нее с необъяснимо сладким волнением. Говорят, что в такие минуты обо всем забываешь и ничего постороннего не видишь. Все это пустые слова. Я отчетливо понимал, что люди близко, за кустами, может быть, смотрят, но мне совершенно не было стыдно, как не стыдно на людях выжать штангу или побороть соперника. Не божья благодать спустилась на меня, а ощущение высоты человеческой, силы, пригодности, острого чувства жизни.

— Какой ты хороший! — продолжала Галка. — Нет, не хороший, а смешной... Ну, что стоишь?..

Я неловко поцеловал ее в губы.

Вечером, возвратясь с поля, я забился в угол у печки и сидел с закрытыми глазами. Мама спала. Баба Клава шаркала пимами и говорила, трясая сухой головой:

— Вот ведь нонче как? Собща, не то что раньше. Работников бери... А с работниками что? Горе одно. Расчет картошками и хлебушком не примают: им деньги давай. А где их, денег, возьмешь. Их сроду не бывает, денег-то... Нет, нонче лучше... Вот наш дед не дожил...

Я сидел неподвижно и видел перед собой Галку. В больших сапогах она шлепала вокруг огня, обжигая коленки, и говорила:

— Я тебе, Гунька, сейчас таких картошек напеку, что пальчики оближешь...

И садилась рядом, брала из золы картофелины, самые подожженные и горячие, долго дула на них, перебрасывая с руки на руку, и звонко ойкала.

«Учиться буду лучше всех, — думал я, засыпая. — Поедем куда-нибудь с Галкой... Выберем институт...».

— Умаялся ребенок, — сказала баба Клава, подойдя ко мне и касаясь сухими губами лба. — Сидя спит, ангел небесный... Да как не устать? Вон какую беду поделал...

Осень в Базике неясная, короткая, сразу предзимье. Снег ложится в октябре, с морозцем; тут же светлеет, тихнет ветер, солнце радостно голубит ранний снег, желтым блеском пронизывает дымки. Развесистые клены, сплошь в крепких листьях, пощелкивают утрами от стужи, роняя на землю мерзлые струйки кухтача. Хохлатые свистители набиваются в ранетки, молчат, выклеывая подмороженные сладкие плоды. Вырубки — в заячьих следах, в зыбких морозных туманах. Блестят слюдой первые натоптанные дороги, зевают у ворот собаки, запущенные изморозью.

В ноябрьские каникулы мы с Галкой были на общегородском вечере десятиклассников в драматическом театре. Молодого люду набилось полным-полно. В зале стоял гвалт, проходы забиты, на иных сиденьях по двое. Пока играли спектакль, в котором я изображал старичка, Галка сидела в партере. Я видел со сцены ее бордовое платье, и мне хотелось сыграть свою роль особенно, заметно, чтобы Галке не было за меня стыдно. Я копировал старика Бубнова, старательно и громко произнося реплики, ходил с батожком, тряс бородой, был в ударе и не понимал, что в зале похохатывают не над беспокойным стариком, а над мной.

После спектакля мы долго не могли найти ключи от раздевалки, чтобы переодеться, и когда, наконец, вышли в фойе, уже начались танцы.

Галка кружилась с незнакомым парнем. Увидев меня, она засмеялась и махнула рукой. Следующий танец она снова танцевала с этим парнем. Они оживленно переговаривались. Я ушел в угол и сел за спинами ребят. Стало как-то не по себе, одиноко и грустно. Галка еще задержалась на танец, и еще...

Они подошли ко мне, когда оркестранты сделали перерыв.

— Март Сомов, — сказала Галка, кивнув на парня. — Познакомься... Он прекрасно комментировал сегодня твою игру...

Я нехотя протянул руку, а Сомов сразу заговорил, легко, гладко, насмешливо:

— Так, значит, вы играли в спектакле, Саша? — он обратился на меня черные глаза. У него было запоминающееся броское лицо со смуглыми щеками, высоким лбом и длинными, скрученными в кольца, волосами. Сомов держался прямо и снисходительно улыбался. — Что же? Это неплохо — играть роли. Я всегда завидую тем, у кого есть талант. По-моему, талант возвышает человека особенно...

Он говорил певучим баритоном и выразительно мягко жестиком. Его непринужденность и манера говорить больно ущемили меня. Но еще больше задело Галкино кокетство.

— Нет, ты послушай, как он говорит, — обращалась она ко мне. — Красиво, правда? Он меня сегодня уморил...

— Как я говорю? — Март изображал на лице удивление. — Я говорю искренне, а это всегда прекрасно...

Он пригласил ее на новый танец, и она с готовностью кивнула, даже не взглянув на меня.

С вечера возвращались поздно. Сыпал снег. Мы шли молча. Галка задумчиво прокладывала в снегу дорожку, редко оборачивалась ко мне. Снежинки путались в ее волосах, облепили коричневую мальчишечью шапку, шалевый воротник, и когда я видел ее лицо в снежном овале, у меня обрывалось сердце от гнетущей тоски и очень хотелось спросить, за что она сегодня обидела меня?

— Зайдем к нам, — предложила Галка.

Мы зашли. У них никого не оказалось дома.

— Где-то загостились наши... — Галка говорила шепотом. — Ты проходи, Гунька, раздевайся... Не дуйся на меня, прости... Садись, погреемся...

У меня отлегло от сердца.

В потемках растолкав стулья, мы сели на диван. В доме пахло волглыми половиками. За печкой трещал сверчок, то отрывисто, испуганно, то затаенно, однообразно, точно засыпая. Галка прогнала с дивана кошку и отвалилась на спинку, расставив руки.

— Неужели это пройдет? — спросила она. — Ты пройдешь. Школа пройдет. Вчера химичка рассказывала, как бывает, когда дружат девочка и мальчик...

Я не ответил.

— А интересно, — продолжала Галка, — одна девочка мальчику глаза кислотой выжгла. Дура она, Гунька...

— Почему?

— Не знаю. Я бы так не сделала...

Мы замолчали, и потом снова заговорила Галка и о другом.

— У меня ноги трясутся. Я люблю, когда устают ноги...

— Куда учиться пойдем? — перебил я Галку.

— Куда бог пошлет. Мне все равно. Гунька, пощупай, как дрожат ноги... Вот здесь пощупай...

Я коснулся ее колен, плотно стянутых подолом платья, но тут же испуганно отодвинулся и лег на валик.

— Ну, развалился, — капризно сказала Галка. — Еще ноги на меня положи...

— Ты тоже ложись, — выдавил я. — Устала же...

Она легла быстро и ловко, но сразу встала, одернула платье. Я взял ее за плечи и положил снова. Она стала вырываться, тяжело дыша, и я почувствовал, что трогаю ее нелепо и грубо.

Внезапно Галка затихла и сказала:

— Вся измялась с тобой... Мамка спросит, что делала?..

И не убрала с груди мою руку.

Всю ночь мы сидели на диване. Галка расстегнула платье, и я трогал ее набухшее, тугое и белое тело, целовал, касался щекой, а она крутила на палец мои волосы, спадающие на лоб, и удивлялась, что легко и просто тревожит меня.

— Ты ревновал меня, да? Скажи, ревновал?

Весна пришла в срок. Быстро тепели скворцы и сновали по огородам молча, старательно. Проклюнулась трава у заплотов, расцвела калужница. Земля посерела, с поверхности высохла и крошилась под сапогами. Пахло южным степным алтайским ветром.

В середине апреля мы с матерью таскали навоз для огуречных грядок.

— Ты бы, сынок, дальше учиться повременил, — говорила мне мать, разравнивая вилами навозную кучу. — Нам за Бубновыми не угнаться... У них отец есть... Пушай Галка едет, куда ей надо...

— Вместе ехать договорились...

— Это же в институте-то еще пять лет, — настаивала мама. — А дома?..

— Учиться хочу...

— Повремени, сыночек, повремени... Нагонишь свое... Оправим-ся маненько, учись с богом... А что ты поедешь? Ни одеть у тебя, ни обувь...

Я пересказал Галке этот разговор.

— Тоже не поеду, Гунька, — заявила она. — Что проку от института? Маета...

За Базином, на вырубке, цвели прострелы. Нагретые ветки жимолости пахли горьковатым талом. Справа поднимался пихтач, куда улетали вспугнутые нами птицы. Мы рвали цветы, сбивали прутьями бабочек-липушек, и Галка без конца повторяла:

— Никуда не поеду... Сказала и все. Дался отцу институт. Билетершей устроюсь: скоро тетя Катя из клуба в декрет уйдет...

Я отдавал ей цветы, надеясь, что она говорит искренне.

Галка уехала в конце июля.

Я провожал ее. У вокзала в сквере мы ели мороженое. Галка смотрела перед собой и молчала. Крупное облако закрыло солнце, и тень легла на Галкино лицо.

— Что это? — вздрогнула она.

— Скоро дождь...

— По радио передавали — без осадков, — она прикоснулась губами к мороженому и снова задумалась. Серпастые брови четко выделялись на лбу.

— Вчера тоже передавали — без осадков, а дождь был...

— Вчера шел дождь? — удивилась она. — В обед? Когда к Серафонтову ходили? Не помню... С ума сошла девка...

Она засмеялась и положила голову мне на плечо.

У вагона мы неожиданно столкнулись с Мартом Сомовым.

— Артист? — сказал он, хлопая меня по плечу. — Я несказанно рад. Значит, мы с вами едем? Это прямо-таки замечательно, архиинтересно...

Я растерялся под его взглядом, уверенным, холодным, свысока. Сомов расстегнул пиджак и сунул большие пальцы за плетеный ремень.

— Не знаю, куда деваться от родственников. За последние сутки они превзошли самих себя: и отпевали, и хоронили, и оплакивали меня, как последнего святого. Удивительный это народ — папа с мамой и разные там прочие тетки и дядьки...

— Разве плохо — много провожающих? — спросила Галка. Она покраснела и неловко теребила ручку дамской сумки. — Значит, все вас любят...

— Все хорошо в меру... — Сомов переступил с ноги на ногу, и белая рубашка меж складок стала переливаться голубыми и розовыми блестками, я никогда не видел таких рубаш. Сомов улыбнулся Галке и взял ее под руку. — Я вас встречал после того...

— И я вас видела... — Галка подняла на него виноватые глаза, будто это была бог весть какая провинность — видеть на улице человека.

— И даже не один раз встречал...

— И я вас видела не один раз...

— На хоккее?

— И на хоккее...

В вагоне Галка смеялась и плакала. Я упрямо смотрел на нее и молчал. Галка держала мои руки и говорила, глядя в открытое окно вагона:

— Постараюсь не сдать, Гунька... Беда-то какая...

Я доехал с нею до соседнего разъезда и, простясь, допоздна лежал на песчаном откосе у края бора. В небе собирались и грузнели тучи. Ветер качал макушки сосен. Мимо пронеслись поезда, и я хорошо представлял один из них, тот, который был далеко. Там, у открытого окна, несомненно стояли друг против друга Сомов и Галка, потому что иначе просто не могло быть...

Мне навязчиво приходило в голову одно и то же, будто я догоняю поезд, запрыгиваю на ходу в вагон и подхожу к ним, Сомову и Галке. Я подыскивал особенные слова, которые надо было сказать, и никак их не находил и чувствовал в груди ноющую боль.

Ночью была гроза, и такой обрушился ливень, что на огородах размыло картошку. В Базике полегли заплоты. У дяди Васи Бубнова раскатало бревно, и он собирал их ломом, чертыхаясь на всю улицу. Баба Клава говорила:

— Человек помер где-то... Грозы все лето будут... Это раньше-то всегда так. В какой год у нас на хуторе человека сыскали пропадшего, так ливны были с громами, ливны, как сейчас помню, куда бы девались...

Мне было тяжело от ее слов, и я грустно смотрел на бубновский дом, надеясь, что вот раскроется калитка и на улицу выбежит Галка с портфелем, крикнет:

— Давай живее, Гунька, снова опоздаем...

Но на бубновском дворе было тихо и пусто.

— Галка-то учиться поехала, — не минула порассуждать на улице тетя Маруся Бубнова спустя месяц. — Пушай учиться: грамотная будет... Мы-то с отцом не учились, пушай дочка за нас отучится...

— Чего говорить, — соглашался с ней дядя Афоня Громов. — Без ученья сейчас некуда... На целину только, землю пахать...

— Нравится ей, — продолжала тетя Маруся. — Давеча все письмом расписала... Пишет: народу тьма. Одних студентов этих больше, чем у нас в городе народу...

— Да неужто больше? — сомневалась моя мама.

— А что думаешь? — вместо тети Маруси отвечал Громов, садясь на бревно. — У нас-то кого... Сколь тут у нас-то? Ничего, можно сказать, нету...

— Сто пятьдесят тысяч, — подсказывал я из огорода.

— Ты в большой разговор не встревай, — осекал меня Громов и небрежно махал рукой. — Еще понятия об этом не имеешь, а туда же...

Галка писала часто, но отвечать на ее письма было тяжело. Что ответить? Устроился на работу? Что это по сравнению с институтом? Работа, невидаль какая... Каждый может работать: было бы желание... А еще что? Больше и писать не о чем... Получит она такое письмо и бросит в стол.

Между тем, я действительно устроился на работу, но устроился неудачно, досталось никудышное место.

Мы работали втроем на шурфе: Колька Шилов, наш «старшина», рослый, длиннорукий и рыжий детина, у него из-под рубахи лезли на горло красные прямые волосы; Раис Ашихмин, татарин, с круглым лицом и внимательными узкими глазами, цвет которых нельзя было различить, но неизменно верилось, что они приятного чайного цвета; третьим был я. Каждый раз перед началом смены мы сидели у шурфа, и Колька Шилов, «видавший виды человек», безбожно трепался:

— Я, братва, за свою жизнь повидал, — он удобно вытягивался на траве и разбрасывал руки. — Земля от земли разнится. На одной земле — не жизнь, а житуха. На другой же прямая противоположность, я должен сказать. И люди. Одни люди как люди, другие же — страх божий...

— Моя земля — весь хорошо, — утверждал резко Ашихмин, не поднимая головы. — Твоя работать не знай ничего. Работать плохо. Бегаешь, бегаешь...

— Твоя работает, — издевался Шилов. — Ну и работай. Работа дурака любит... А мы посмотрим...

— Ты сам дурак, — Раис садился, скрещивал по-турецки ноги и говорил быстро, вобрав голову в плечи. — Тебе морда бить надо...

— Я набью, — Шилов поднимал кулак. — Видишь, плюха какая?..

Это повторялось изо дня в день, и я знал наперед, что Шилов сейчас пошлет Раиса в шурф — принимать лес, и когда тот спустится, подтащит к шурфу несколько баланов и разом бросит. Раис вылезет на поверхность и станет кричать:

— Моя не может быстро ловить... Сам иди...

— Работник, мать твою... — пробурчит Шилов и с готовностью начнет спускаться под землю, потому что там работы меньше и сама работа полегче. Мы с Раисом останемся наверху, будем подносить метров за сто лес, грузить в скип и опускать в шахту.

Вокруг шурфа не просыхала грязь. Пахло гнилью и чем-то совершенно отвратительным. Лес был лиственный, сырой и тяжелый; меня качало, как былинку, когда я тащил на плече балан. Порой хотелось закричать, захныкать от тяжести, и я с трудом дожидался обеденного перерыва. Лежа на сухом взгорке, я представлял себе светлую институтскую аудиторию и Галку, сидящую с Мартом.

— Человек человеку рознь, — как всегда болтал в это время Шилов. Он устраивался на взгорке выше всех, на солнечной стороне, и лежал с закрытыми глазами. — Если один человек, допустим, смелый, то другой, наоборот, трус. Если один красавчик, то другой обязательно крокодил. — Шилов открывал глаза и смотрел на меня с ухмылкой. — Вот, к примеру, меня вопрос одолевает, кто тебя такого выродил, «друг»?

— Тебе-то что?..

— Семян на развод добыть... Счас такие, как ты, в моде...

Я молчал.

— Небось, девки гуртами бегают? Им заморыши нравятся...

— Отстань...

— Зря, братец... — Шилов скрещивал руки и говорил в небо. — Они силу дают, девки-то... Думаешь, почему я, как бык, здоровый? Потому что мне наплевать: для меня любая сойдет... Раз — и глухо, — он подчеркнуто произносил последнее слово, сопровождая его выразительным жестом, будто натягивал вожжи. — В жизни, братва, все из-за баб происходит: работа из-за баб, война из-за баб, книги пишут из-за баб... Потому баба — вещь на все случаи...

— Ты, кроме своих баб, ничего и не знаешь, — отвечал я.

— А больше ничего и нету, — усмехался Шилов. — Ты вот счас лежишь, а сам о бабенке думаешь. Скажи — не угадал? Угадал. А твоя бабенка в этом самом институте, поди-кось, таким наукам обучается, от которых у человека рога на лбу произрастают... Но ты, друг, не расстраивайся... Приедет и на тебя хватит...

— Похабник ты,— заступался за меня Раис.— Твой язык резать надо... На забор вешать надо...

— Я повешу,— однообразно отвечал ему Шилов, поднимая кулак.— Опусти и — глухо...

Обеденный перерыв кончился, и мы снова принимались за работу. Я приходил домой, не думая ни о чем, усталый, разбитый, валялся на кровать. И тут, как на зло, прибежала тетя Маруся Бубнова и твердила-расписывала:

— Волосы обкорнала, губы красит... Змея, а не девка... Смотрю на нее и не узнаю...

— Что ты говоришь,— притворно удивлялась моя мать.— Вот ты что...

— Ой, Софроновна, только руками всплеснешь и все. Говорю: «Отец приедет, смотри у меня. Он куда тебя отправил? Учиться? А ты, поганка такая, что делаешь?» А ей хоть бы что... Собралась и пошла.— Тетя Маруся садилась возле меня и вздыхала.— Три дня у нее жила: голова кругом...

— Как-никак, а учится все же,— защищала Галку мама.

— Кто ее знает— учится или не учится. С книжками ходит, а, может, без толку...

— Ходит и слава богу... Ты на дочь-то не наговаривай... Она у тебя с умом, девка-то...

Я уходил на улицу и одиноко бродил по вырубке. Зажигались звезды. Осенний заморозок схватывал закрайки лужиц. Сухие багряные листья жимолости теребил ветер, но, казалось, вокруг развезлась невыносимая пустота: будто никогда здесь никого не было и не должно было быть...

Ванька Серафонтов уехал на шестимесячные курсы машинистов угольных комбайнов. Верка, его подружка, поступила в Барнаульский текстильный институт. Разбрелись кто куда и другие. Остался я один. И все, что было до этого дорого,— школа, улица, полын, Галкин заплот, трава-мурава, потеряло ценность.

К нам приехала дальняя мамина родственница — третья вода на киселе — Харитина, молодая бабенка-брошенка, с темным задубелым лицом и белыми кудряшками на лбу. Харитина много курила и приставала ко мне. В сумерках кошачьей зеленью полыхали ее глаза. Запах табака переворачивал во мне внутренности. Я отталкивал Харитину, ругался, но ей нравилось со мной играть, нравилось дразнить. Она вставала на колени, разливно хохотала и не спеша расстегивала на груди кофту.

Харитину ругала баба Клава:

— Ну, чего ты, бесстыжая? Чего?

— Кровь, бабушка, играет... Кровь...

— Никакая у тебя не кровь, а хотеньчики одолевают... — баба Клава крестилась на икону. — Чего к мальчишке пристала?

— Несмышленный он,— заливалась смехом Харитина, — с несмышленным баловаться интересно...

— Лучше перестань бога гневить,— бабка вздрагивала, точно

пугалась своих слов, и спрашивала у мамы. — Это чье же такое семя? В кого она у вас?..

Мама стыдливо молчала, а Харитина падала на кровать и задыхалась от хохоту.

Я успокаивался, только уйдя к мужикам, которые по-прежнему гуртовали вечерами у бубновского дома. Затихнув где-нибудь с краешку бревна, слушал.

— Коров держать — выгоды нету, — рассуждали мужики, кутаясь в ватники и покуривая. — Да и кто их будет держать? Молодые? Открывай карман шире... Им сейчас, молодым-то, образование подавай. Им бы говорить только, командовать. А спроси: каким местом корова молоко выдает, они и не скажут...

— Точно, точно, — подхватывает кто-нибудь, ядовито хихикая. — Не скажут. Откуль скажут? Не-ет...

— Оно, конечно, и правильно: чего со скотиной возиться? Это мы, дураки, соскакиваем ни свет ни заря и стайки чистить, а потом на работу... И мутыскаемся всю жизнь: ни взять с нас, ни поговорить. А если молока да мяса в магазине будет сколь хошь, почитывай себе книжечки да кина смотри... Тогда, небось, махорку-то сосать не будем, сигареты всякие курить начнем, как правдишные...

А то подступали другие разговоры.

— Чего-то слухи, мужики, тянутся, будто ошиблись с туркменским каналом... И вообще все забраковалось по преобразованию природы...

— Новая метла по-новому метет...

— Ну, не скажи, Афанасий... Никакой новой метлы нету... Как была Советская власть, так и есть...

Слушая эти разговоры, я засиживался с мужиками подолгу и не потому, что мне очень хотелось, а просто некуда было деться.

Зимой подрались Раис и Шилов. Я пытался их разнимать. Они посадили меня в скип и опустили в шурф-колодец, чтобы им не мешал. Сидя в скипу, я слышал их воинственные крики и ругань. Сквозь открытое устье виднелись низкие белые облака. Ледяной сквозняк пробирал тело. К железным бортам скипа нельзя было прикоснуться. Я сидел на корточках и думал: «Ну, почему они так со мной поступили, Раис и Шилов? За что?».

Едва наверху смолкли крики, скип резко сорвался вниз. Я закричал от неожиданности и вцепился в бортовину. Скип замер, постоял, вздрагивая, и метнулся вверх. Не дойдя до поверхности метров пять, он снова стремительно рухнул вниз. У меня перехватило дыхание, но тут же почувствовал, что меня прижало к днищу — скип остановился: надсадно запел старенький трос, на котором висела посудина. Я испугался и потерял сознание.

Первое, что я увидел, придя в себя, было лицо Шилова. Крупные ссадины кровоточили на его лбу и щеках. На голове не было шапки с шахтерской каской. Опухшие вывернутые губы тяжело шевелились. Я поднялся и увидел Раиса, лежавшего на снегу лицом вниз.

— Как? Испробовали? — шептал мне Шилов. — Со мной, друг, шутки плохи. Я ведь махилу подниму, коц! и — глухо...

В этот день я возвращался с работы больным. В ушах звенело, подступала тошнота, хотелось спать. Подойдя к калитке, я остановился и посмотрел на бубновский дом.

Еще не веря глазам, я медленно пошел по тропинке — во дворе была Галка, в материной пуховой шали, в заснеженном пальто — Галка играла с собакой. На крыльце стояла тетя Маруся и обивала о стену варежки.

— Еще вчера приехала, вчера, — крикнула она. — Заходи, чего встал?

Я зашел.

— Привет, Гунька, — пробегая мимо, крикнула Галка. Она прижалась к заплоту, держа собаку за передние лапы. — Тьфу, псина, тьфу! Чего ты ко мне привязался? У-у, какой нехороший... Отстань, говорю...

Галка отталкивала собаку, но лап ее не отпускала, и мне было неловко стоять истуканом посередь двора, ожидая, когда она прекратит игру. словно нарочно, Галка не торопилась. Я подождал, привалясь к крыльцу.

— Ну, догоняй, Тузик! — крикнула Галка и побежала по огоро-ду, подбрасывая снег валенками. Собака боком, вприпрыжку, устре-милась за ней, несколько раз хрипло пролаяв. Они исчезли за углом дома и долго барахтались в снегу. Наконец Галка устала и пришла во двор, отряхивая пальто.

— Сидишь? — спросила она, вскинув брови, но тут же смути-лась и прибавила. — Я думала, ты в избу зашел...

— Сегодня не холодно...

— Прямо, не холодно... Окна прихватило.

— Они всю зиму прихваченные...

— Рассказывай...

Она отстранила меня и поднялась в сени. Отскоблив голиком ва-ленки, встала в дверях.

— С работы?

— С работы...

— Так рано?

— Ушел пораньше...

— Филонишь?..

Я покачал головой и поднял на нее глаза. Она усмехнулась, ед-ва шевельнув уголками губ. На переносице мелькнула углубина.

— Устал, наверно?

— Устал.

— Эх ты, рабочий класс...

Я поднялся к ней и коснулся рукой ее щеки.

— Почему вчера не пришла?.. — спросил, глядя на ее подкра-шенные губы.

— А чего бы я пошла-то?.. Ты за все время три письма написал...

— Писать не о чем...

— О чем же говорить?

Я улыбнулся и, теряя терпение, взял ее за плечи и прижал к себе. Она возмутилась:

— Ты что? Сдурел? Мать-то увидит...

— Не отпущу... Здравствуй...

— Вот еще! — вспылила она и вырвалась. — Что я тебе? Жена?

Я утвердительно покачал головой.

— Ох, ты, — снова сказала Галка и скривила губы. — Изжогой замаешься...

Я все еще не понимал ее хмурого вида, надеялся, что она рассмеется и скажет: «А здорово я тебя разыграла, а?» Снова улыбнулся.

— И не улыбайся, пожалуйста... Что это такое? Хватается за что попало...

— Больше не буду, — сказал я.

— Какой изворотливый... Тут, наверно, с работницами привык...

— Скажешь тоже...

— И говорить нечего...

На другой день я снова отпросился у мастера и прибежал к Бубновым. На пороге меня встретила тетя Маруся.

— Галина с какой-то девчонкой на каток ушла. Ага, Санька, на каток... Почему я знаю, с какой... Учатся будто вместе. Уж давненько ушла... Часа три, как не больше...

— На улице подожду, — в ответ промямлил я, поднимая воротник пальто.

— Подожди, Санька, подожди... Должно скоро придет.

Галка пришла в двенадцатом часу ночи, с Мартом. Я издали узнал Сомова по высокому росту, по особой пружинисто-уверенной походке и еще по тому, что сверток с коньками нес не он, а Галка. Я спрятался за столб, они не заметили меня, остановились у бревен.

Галка сказала:

— Зайдем? Наши еще не спят...

— Как-нибудь в другой раз, Галочка...

— Сердишься?

— Сержусь...

— Дурачок...

Сомов не ответил, и Галка заговорила снова:

— Отелло. Нашел к кому ревновать...

— С чего ты взяла?

— Да так... Пришел, увидел соседа и бежать...

— Знаем мы этих соседей...

— Ох, ты... — Галка опустила на уши вязаную шапочку и поежилась. — Что тут особенного? Родионов сосед, вместе учились... Постоял да ушел. Если хочешь знать, мне с ним нисколько не интересно...

— А письма у тебя в столе?..

— Дурачок, говорю, — отозвалась Галка. — У нас дороги с Родионовым разные. У меня одна, у него другая. Ладно, давай по рукам... Спасибо, что проводил...

— Ух, ты какая... скорая...

Он обнял ее, и она выронила сверток с коньками. Подняла не сразу, сама, долго шуршала газетой, будто не хотела уходить. Тихо сказала:

— До завтра...

Я вышел из-за столба, прошел мимо них, онемевших, растерянных, и побрел вдоль по улице, не зная куда.

Бубновы играли свадьбу через несколько месяцев, в июле.

Базиковский люд набился в бубновскую усадьбу живо и судачил об именитости жениха. Было сумеречное воскресенье. В усадьбе пахло нафталином и сапожным кремом.

— По отцу смотреть — не простые, — говорила тетя Дуся Громова. — Да и так: парнишка солидный...

— Куда ее, солидность-то? С заду толкать? — отвечала Серафонтиха низким голосом и тарасила выпуклые глаза.

— Ну его к черту, — ругала жениха тетя Маруся Бубнова. Она без конца вытирала фартуком руки. — Волосища распустил, как баба. Еще какую сразу в дом принесет.

— Вот уж, правда, кума, — поддакивала ей женщина в сарафане, дыбля груди скрещенными руками. — Что за мода пошла?..

— В солидности-то может проку не быть, — твердила свое Серафонтиха. — Вон мой — жила к жиле, а что скажешь? Все сам... За что ни возьмется, все доспет...

— Куда ты равняешь? Мишку с голышкой...

— Ты по брюху не смотри, — махала руками толстая баба. — Нету брюха — согласная. Брюхо-то, оно что? Только жрать...

— И что вы напраслину несете? — встревала в разговор моя мать, помогая разносить закуску. — Парень как парень — куда с добром...

Я слушал женщин и завидовал их спокойствию.

Столы из-за множества гостей поставили во дворе. Но старик Бубнов, захмелев с утра, был недоволен и жаловался, что народ Бубновых не уважает. Дед косолапил по улице и затаскивал к столу прохожих.

— Всех упою, — кричал он. — Мы, Бубновы, такие... Может, вам жених не нравится? Так вы на невесту смотрите...

Гости приступили к застолью дружно. Поднялся гвалт, звон посуды. На заборе кричала ребятня, дразня молодых. Наша старая баба Клава за воротами пекла на керогазе блины. Дядя Афоня Громов много и дико плясал, выкрикивая сильным голосом матерные частушки. Иногда он подкрадывался к Сомову и шептал, наморщив губы:

— Как, парень: девка она или не девка?

— Нам, лапотникам, один черт: поить, подтаскивать или напITYх оттаскивать, — отвечал Март, не отводя глаз.

— Ужель не пробовал? — дивился Горомов и качал головой. — А то ведь тут что рассказывали...

— Пейте, дядя, — улыбался Март. — Вам-то что...

Он отворачивался и грубо поправлял на Галке фату.

Бубниха по привычке дразнила мужа, сидя напротив него с подпертой головой; без умолку тараторила, что наверняка уедет с татариним в Америку, на хрена ей нонешний мужик сдался. Бубнов свирепел, упав грудью на стол.

— Ты дашь мне слово? — Бубнов поднимал руку, как на собрании. — Ты дашь мне высказаться, язва, или не дашь?

Я смотрел на все это с ужасной болью; я знал, что тете Марусе должно попасть, я знал все, что происходило на свадьбе и что должно было произойти, потому что я был здесь чужим. Я не веселился со всеми, я наблюдал, вылавливал даже мелочи, убеждая себя, что все плохо, дико и мерзко.

Даже песня, которую пела мать, казалась мне неотвратимо гадкой.

Не тебя ли, моя радость,

Егор за сына просил?

А Егоров сын тебя не

стоит:

Не тому ты рождена,

Не тому ты рождена,

Не тому ты суждена...

Опьяневшие мужики спорили, хвастались.

— Заскупился сосед... Рази это свадьба? Вот я Борьку женил: у меня без малого полтыщи народу было.

— Ну, и врать ты, сосед, как сивый мерин...

— Кто врет? Кто? Петровна, скажи: сколько у меня на свадьбе гуляло?

— Да уж не меньше полсотни...

— Чего-о? Скажешь тоже. Живого места не было. Лавки со всей улицы таскали. Одних подарков на тыщу.

Меня преследовала Харитина, щипала, толкалась, садилась мне на колени и так смеялась, что на нее показывали пальцами. Я говорил ей устало:

— Не надо, Хорька... не надо...

Галка сидела в свадебном наряде. Лицо загорело, глаза блестели тяжелым нефтяным блеском. Когда пьяные голоса кричали «го-о-рька», она суетливо вставала, проглаживала на бедрах платье и, обнимая Сомова, целовалась затянно, покорно, с дрожью. Потом садилась и выпивала рюмку вина.

Сомовская родня хмурилась, особенно старший брат Марта, ломовой бугай, и мать, полная темнолицая женщина с усиками. Она пила лимонад и вытирала губы батистовым платком. Когда пьяная колготня страстнела, сватья пожимала крупными плечами и шепталась с родственниками. Брат Марта клонил лобастую голову и шевелил желваками.

Во второй половине дня меня утащил к себе Ванька Серафонов.

Я пошел, потому что невыносимо и глупо было сидеть никому не нужным и озлобленным. Ванька после курсов уплотнил, подсох лицом; глаза смотрели остро, насквозь. Костюм сидел тесно, прямил его сутуловатый корпус. На ногах блестели новые чешские туфли. Ванька говорил и поднимал толстый грубокожий указательный палец.

— Галка сгинет, вот те крест... Сегодня к нам прибежала за посудой... Я спрашиваю: ну, как, мол? А она: да так, ни холодно, ни жарко...

У меня по коже бегали мурашки. Как мне хотелось тогда, чтобы с Галкой приключилась беда, чтобы вся ее жизнь была страданием и горечью! Никогда еще я не был таким бессердечным и жестоким!

— Дядя Вася, как прознал, что она замуж выходит — неделю матюгался, — продолжал Ванька. — И правда: мужик работал, из кожи лез, чтобы дочери образование дать, а она...

— Что делать...

— Я с Бубновым разговаривал, — не унимался Ванька, говорил взрослым рассудительным тоном. — На днях вместе с работы шли... Он мне все рассказал. — Серафонтов заложил руку за спину, как делал его отец. — Они там, в институте-то, молодые что делают? Ничего... Жизни не знают, ничего не знают... Откуда им жизнь знать? Всю войну в качалке прокачались... После войны на все готовенькое, в школу пожалуйте. А радио, что ни слово, то молодежь наша гордость, наша надежда... А молодежь-то эта беды не хлебнула, ходит — волосы распустила, платочки на горло, как пираты... Кого учиться, им развлекаться бы...

Я нехотя заспорил:

— А целина? Разве не молодежь?..

— Рабочая молодежь, Санек... Ты меня с Мартом не равняй... Я уголь выдаю, вот этими руками... Понял, слава богу, что значит жить на белом свете...

— А там? — я показал на сердце.

— Душа? — переспросил он. — Душа в порядке. Наишачусь и сплю. Еще, между прочим, в училище в комсомол вступил.

— Это как? Мы тебя силком затянуть не могли.

— То в школе. В школе, Санек, другое дело. У меня батан помидорами торговал...

Мы вернулись к Бубновым с темнотой. На крыше зажгли переноску. Яркий свет залил двор; опустошенно, хмельно закричали гости. Старик Бубнов намочил голову и, присев на крыльцо, рассказывал, что переноску утащил из школы. Ему отвечали смехом: после суда он боялся поднять на улице щепу. Дядя Афоня Громов спал в полыни. Молодежь толкалась вокруг баянистов. Из круга пляшущих улыбалась мне Харитина. Сомов и Галка устало и покорно сидели за столом.

— Нечего нам к чужеземцам на поклон ездить! — кричал мужик, пьяно хлопая по столу ладонью. — Били мы их, сунутся — еще побьем...

— Экий ты храбрец, — отвечал ему сосед, выплескивая из рюмки вино. — Ты думаешь — это тят-ляп, да?

— Не пугай, Трофим... Гоняли мы их. Жаль, не добились. А надо было... Так дать, чтобы до сих пор с оглядкой чихали. А мы к ним ездим. Не-ет, это не порядок...

К нам с Ванькой подошел Март.

— Что вы на это скажете? — он показал пальцем на пьяных мужиков. — Совсем темные люди, а рассуждают...

— Почему бы им не поговорить? — спросил Серафонтов неприязненно. — И вообще, причем здесь темные люди...

Март снисходительно похлопал его по плечу.

— Тут, брат, так: соображать надо...

— Допустим...

Уловив недоброжелательный тон, Сомов прищурил черные глаза, перешел на иронию:

— Самообразованием надо заниматься... Идти в ногу со временем. Брошюрки читать... В библиотеку-то ходите? Сходили бы, почитали... Замечательная вещь — брошюрка...

Ванька поднялся, встал грудь в грудь с Мартом.

— Философ, что ли? Темные люди? Ты, гад, беги-ка за стол к своей шмаре, пока я тебе меж глаз не врезал.

Март удивленно повел бровями и покорился:

— Хорошо, уйду... Другой бы спорил...

Ванька опустил на стул и прошептал бледными губами:

— Кожей чувствую, что скотина...

К нам подошла мама и показала на Бубнова. Дядя Вася, растравленный женой, наливался пьяной злобой.

— С татаринцом поедешь, мать твою... — кричал он, сжимая темные кулаки.

Гости бросились его успокаивать. Сомов вцепился тестю в руки. Ванька Серафонтов заслонила Бубнику. Опрокинули стол, второй. Я подумал: именно так и должно было быть. Все же есть божий суд! Пусть все идет комом! Пусть. Наверно, дед Бубнов был одного со мной мнения: он стоял на крыльце и кричал:

— Не трогать: пуцай дерутся. Все одно — без радостей...

Никогда еще базиковцы не были такими унылыми и бесцветными, как сейчас...

Ко мне подошла Галка.

— Где пропадал?

Она показала глазами на темноту под навесом и ушла. Я направился за ней.

— Вот и все, Саша, — выдохнула она, припав затылком к стене. — Будто что-то теряю...

— Что теряешь? — у меня боем билось сердце.

— Себя. Наскоро все сделано на земле... Для виду. Тебе нравится мой муж?

— Ты выбирала — тебе и хвалить...

— И Март сделан для виду...

Я промолчал. Мне казалось, что я стою на земле босыми ногами, а земля сырая и холодная, и ногам зябко.

— Я дрянь, да? — снова спросила Галка.

— А как сама думаешь?

— Все такие... Я — дрянь, ты — дрянь, Март — дрянь. Одни больше, другие меньше...

Она достала из-за рукава платок и вытерла губы.

— Что я видела? — Галка показала рукой в сторону двора и усмехнулась. — Только вот это, ограду... Ничего не видела. Тебя. Март не то, что ты... Да и вообще. И семья у него другая, и поговорить с ним, — она развернула платок и похлопала им: просто не знала, что делать. — И вот. Думала, все такие, как ты... А теперь выхода у меня нет. Не перед тобой же на колени вставать. Может быть, и встала б, да жалко тебя...

Я уловил в ее голосе что-то неясное, грубое, спросил:

— Каешься?

Она поежилась, обхватив руками плечи.

— Нет. Авось, повезет: Март не дурак, в люди выйдет...

В ответ я сдержанно пожелал ей всего наилучшего.

Галка выпрямилась.

— Тебе нечего больше сказать? — спросила она.

— Чего же еще?

— Бестолочь, — ее брови укоризненно вздернулись и неживая улыбка запеклась на губах. — Не могу я просить у тебя прощения. Пойми — не могу! Это выше моих сил...

Галка стояла, опустив руки. Подвитые волосы прикрывали загорелые плечи. Глаза смотрели горделиво спокойно.

— Хочешь, я уйду с тобой? — неожиданно предложила она. — Это я могу. Пойдем к вам...

Меня обожгло огнем. Припав к ней, я почувствовал дурман от ее напряженного тела. Шепча что-то бессвязное и ласковое, я гладил ее волосы, целовал в шею, и она отвечала мне тем же.

И вдруг Галка стала вырываться, а когда я отпустил ее, она ударила меня по щеке. Я опомнился и посмотрел назад. За спиной стоял Март.

— Миленькое дельце, — сказал он, улыбаясь. — Кажется, без скандала не обошлось...

Из темноты выступил его брат. Ребром ладони он ткнул меня по шее, потом дал кулаком в лицо, отрывисто, по-мужски, а когда я упал, он пнул меня в грудь и поволок за ноги по двору; сзади бежал Март и шпынял меня под бока.

— Что вы с ним делаете? — услышал я истошный голос Галки. — Что вы с ним делаете?

Дядя Вася отнес меня домой. Я помню, он говорил у кровати:

— Плюнь на все, Сашка, плюнь... В главном будь человеком. А на баб плюнь... Моя-то с татаринном спуталась, дура старая... Ух, сейчас пойду...

И после причитала мама:

— И чего ты гадость затеял? По-старому тебя бы напрочь порешили. Надо же этакое придумать... Совсем у тебя, Сашка, ума нет... У печки молилась и вздыхала баба Клава.

Галка уехала с мужем вскоре после свадьбы. Я видел в окно, как они садились в такси. Лаяли поселковые собаки. Ветер гнал по траве бумаги. Галка спряталась в машину, а Март простился с хозяевами и сел рядом с шофером. «Победа» отсалютовала гудками Базику и укатила.

Снова опустел и затих бубновский двор; лишь старик Бубнов утрами копался в огороде да в полдни пискляво и нудно созывал кур и кормил их свадебными остатками.

Пошли дожди. От них было то зябко, то душно, и пахли они прогорклым зерном. Смолкли птицы и смолкли не от дождей, а от июльских хлопот — птенцы на крыле, самим лету неуправляемы; а все казалось, что тишина, горечь от мокроты, от лихолетья.

Заглядывал опохмелиться дядя Афоня Громов.

— Как это получается? — спрашивал он, держа стакан. — Ты с ентой девкой гулял, а другой свадьбу справил. И тебя же побил. Вот здорово живешь! — Громов царапал сухой подбородок и качал головой. — А Бубновым жених не к душе. Нонче мне старик жаловался. Говорит: срам один, заносчивый...

Громов болтал стаканом и кивал:

— Ты выкинь ее из головы, Галку-то... Дура она. А я за твое здоровье выпью...

Харитина все жила у нас, но скучала по тайге. Как и прежде, она приставала с поцелуями, смеялась, подсаживалась ко мне и сквозь смех шептала, будто товарке:

— Ты к Галке своей сходи... Договорись с ней: она будет встречаться... Я тебе верно говорю, голубок — ясны очи...

— Для чего все?..

— Знамо, для чего... А не хошь, как хошь... Со мной поедем, на Мрассу. Отдохнешь в тайге, остынешь. Отпуск скоро?

— Никуда я с тобой не поеду...

— Ой, не говори этак-то, голубок — сизы крылья... Еще как поедешь...

Неожиданно Харитину поддержала мама.

— Ты бы, сынок, изведаль про моих стариков-то. Поезжай с Харитиной. А то что? Вон уж какой вымахал, а про родню свою не знаешь. И они тебя не поминают, старые.

Я взял отпуск и поехал.

Дед встретил меня нелюбо.

— Чей будешь? Нюркин? Это которой? — он косил глаза на бабу, выдыхая шумно, носом. — Что еще за Нюрка?

— Господи, божья дева, — тихо отвечала баба Устя. — Это вы, Софрон Саныч, на старости лет детей зачали позабывать...

— А ты подскажи, небось, язык не отвалится. Их у тебя чертова

дюжина, всех не упомнишь,— дед хлестал ладонью по бороде, круто ломал брови.— Дай ему молока, пусть день-другой поживет...

Я поселился в сарае и жил тихо, рассказывая по ночам бабке Усте о матери, бабе Клаве и городе.

— Вон куды забрались,— вздыхала баба Устя, подперев желтым кулаком голову. Из-под платка виднелись косички.— Как же вы там?

Она не слушала моих объяснений, снова вздыхала и прямилась.

— Из-за деда Нюшенька в город подалась, из-за деда. Это же ирод, а не человек...

Глаза бабы Усти были прикрыты очками. Очки держались на тесемке и тонули в глазницах. Баба часто вытирала очки концом платка, и тогда в них играл синий блеск светца.

— Выматывает из меня душу, смерти на него нет, чебреца подколодного. То мужик как мужик, а то взбесится. Но ты его не бойсь: обманом мы его, истинный бог, обманом.

Через пятидневку дед столкнулся со мной в сарае и схватил за плечо.

— Это твой отец в тайге жил?

— Мой.

— Ему, сукиному сыну, что говорилось? Бери Катьку, старшую, баба, каких не сыскать... Так нет, за Нюркой погнался...

Дед взял топор и поскреб острием красную потрескавшуюся шею.

— Дом такой был, живи — помирать не надо. Так нет, язви ее, твою родительницу, мало я ее сек... Сбежала. В город приспичило. А что там, в городе-то? Манна небесная?

Я смотрел на широкие плечи деда и не мог охватить их взглядом. Была зависть к его крепкому телу.

Дед махнул топором и пошел со двора. На его спине пузырилась рубаха, шваркали задубелые штаны и плескались вислые руки. От ходьбы надвое делилась борода.

Мы пришли на усадьбу дедова брата.

— Фотька, выходи во двор,— крикнул дед Софрон и всадил топор в косяк дома.— Токиш смотри, холера, если снова зачнешь драться, угаркаю колуном...

За плетнями собирались соседи и глядели во двор. Дед Фотей вышел на крыльцо, подвязывая бечевкой штаны. Он смочил в кадушке лицо, обтер жженым запястьем и встал, шевеля пальцами крупных ног.

— Чо?

— Кто онадысь спорил, что от Урманского крайна до Буков шестьдесят верст?..

— А сколь?

— Восемьдесят.

— Ты, Софрон, голову общупай: тебя старуха барцом огрела...

— У меня голова тверезая. Ты, Фотька, дальше Суевской чапыги не ходил и не знаешь...

— Тогда где, по-твоему, я медведя в прошлый год взял?

— Какого медведя? Ты хоть одного-то брал?

— Софруха, не зли,— дед Фотей помотал большой косматой головой.

— Чего бы я тебя злил? За крайнами спокон веку медведя не водится. Я там все исходил. В ложняке по гарям тетерева есть, это верно...

— Зарастил харю-то по глазищи... Откуль тама гари?

— Спроси у малого,— дед Софрон показал на меня, и я ощутил на спине озноб.— Евонный путь из городу никак мимо крайнов не пройдет. Спроси у него, есть там гари аль нету?

Я утвердительно кивнул головой.

Дед Фотей молча потянулся рукой за угол дома и достал лом. Втянув носом воздух, дед сронил на глаза пыльные брови и пошел на нас, ворча угрозы. Я помертвел от ужаса. Из дома выбежала худая девка, вырвала у Фотея ломище и заругалась:

— Чего, кобели, сцепились? С жиру беситесь? Ну-ка, дядя Софрон, ступай со двора — у тетки Усти пироги стынут...

Вечером дед Софрон поил меня чаем и хвалил:

— Меткий у тебя глаз — все приметил. Нашей породы — аверкинской. Не то, что Фотей: он в бабку Кычиху, а они, кычиховские, все полодырыге...

Пришла в гости Харитина, села с нами.

— Внук твою сторону принял, ты и хвалишь,— сказала смело.— Язык-то за такое своекорыстие боженька отрежет, дядя Софрон...

— Не отрежет,— метал взглядом дед.— Бог-то, он тоже не дурак — по пустякам косырем махать...

Он отпивал чаю и хлопал ладонью по бороде.

— А в жизни всегда надо одну справедливую линию держать... Разве Фотьку со мной сравнишь? Он зався поперек, растуды его, а сам тумак тумак, Фотька-то. Токиш врать. Как на его сторону оборачиваться? Потому и хвалю внука, что сообразил...

После чаю Харитина свела меня к покинутой отчей усадьбе. Сбив с окна доски, заглянула внутрь.

— Сколь уж стоит, голубок молчаливый — пустой и пустой...

Большой обветшалый дом потонул в густом ветлуге. Из окна тянуло ветошью. В доме без перегородок была печь, стояла рассохшаяся бочка, у окон — стол, загаженный птицами, у глухой стены — деревянная кровать. Я долго смотрел на печь, незнакомую, обшарпанную, и вдруг вспомнил, что за печкой есть куток, где пряталась кошка. Я любил лежать на кровати и глазеть в запечную темноту.

— Все грустишь, голубок ясноглазый? — спросила Харитина, подойдя ко мне близко.— Жалко мне тебя... Дай поцелую... Все забудешь...

Ночью я видел сон. Мы с Галкой ехали на подножке железнодорожного вагона. В лица бил колючий ветер. Точно сносимые этим ветром, отставали знакомые дома, улицы, трамваи, автобусы. Проплыл Базик. Двое, мальчик и девочка, шли вдоль насыпи. Они клали на кулачки листья тополей и били по ним, смеясь и толкаясь. А на окраине — другие мальчик и девочка. Они стояли у заплота, и она,

согнув ногу, стучала каблуком по заплотной доске. А потом еще мальчик и девочка, еще...

И Галка сказала:

— Конечно, Гунька, я тебе прямо скажу: зря ты уехал...

— Опротивело все...

— Онегин — тоже мне.

Я проснулся и лежал, прислушиваясь к шороху мышей в подполье, а сам думал: «Останусь у деда: буду охотиться, ловить рыбу, землю пахать. Буду здоровым, как дед Софрон, и все будет мне нипочем. А после приеду в Базик, и меня не узнают. Только Галка... Она подойдет, и ей будет горько и стыдно».

Через несколько дней мы с Харитиной отстреливали в заречье молодых глухарей.

Наступил сухой и багряный сентябрь. Тайга на покатых пахла жухлым листом. Воздух был оливковый от близкого солнца. В глухом логу далеко слышался бег ручья.

— Камни геологические видел, голубок-сизы крылья? — спросила у меня Харитина. Она присела у породного обнажения, прикладом отбила несколько камешков и протянула мне. Камешки были розовые с желтоватыми вкрапинами. Харитина сказала. — Понфир...

Она взглянула на меня и покраснела.

— Может, неправильно сказала... Так я наукам не обучалась... Один парень рассказывал... По этому понфиру нашли руду...

Харитина одернула брезентовую куртку и взбросила на плече ружье.

— Тут у нас руды сколь хошь... Я и плавильные печи видела в горах... Старые еще, от царя-косаря...

Она поправила на мне кепку и толкнула рукой в грудь.

— Ух, и мордашка у тебя... Так бы и съела...

В логу запел глухарь. Вечерело, и глухариная песня была отрывиста, приглушена, точно пелась неохотно, на сон.

— Крэкэтенъ токует, — вздохнула Харитина. — Красота-то какая, господи... Ты сильно Бубнову любишь?

— Тебе что?

— Да так... Ничего ты не понимаешь, голубок-сини очи... Хорька тоже, кабыть, любила да еще как... — она посмотрела на меня откровенно жалостливо и покачала головой. — Сщас никто не поверит... А любила, Сашенька, честное слово, любила... Знаю, что это такое, потому и жалко тебя.

Подкинув на плече ружье, она печально взглянула на небо, совершенно синее и чистое.

— Согрешить тебе надо, — сказала задумчиво. — Согрешить, и дело с концом...

Харитина села на камень у тропы, задумчиво склонилась к коленям.

— В другой день мне стыдно, Сашенька... Так стыдно, что куда бы девалась... Вспомню о себе, какой была, и плакать хочется. А так же вот один измотал. Я ему ноги от любви целовала и все прочее,

унизительное, что мы бабы совершать можем, а он — нате вам, ушел. Она, другая-то, видите ли стихи рассказывала, будто от стихов душа красивеет. От них досада, от стихов-то, дурь...

Она сорвала ветку и стала хлестать ею по моим сапогам.

— Я читала их после, стишки-то... Читала, читала и давай травиться...

Ее лицо наполнилось удивительно ясным светом. Стало видно, что она совсем молода, здорова, а смеется много единственно потому, что всеми силами пытается укрыть свое горе, одолеть его, сохраниться.

— Для чего ты все это рассказываешь? — спросил я, садясь рядом.

— Жалко мне тебя, Сашка... Сердце к тебе льнет... Уйдешь в город, затынет тебя Галка в несчастье. Чую! И будешь ты там горе мыкать... Жалко просто...

— Может, я не хочу в город...

— И правильно. Оставайся у нас, — Харитина подняла блестящие глаза, и я понял, что, может быть, сильнее всего на свете она ждала сейчас именно этого, чтобы я остался в тайге навсегда и пусть не с ней, но только бы непременно рядом, близко. — Любовь еще придет, Сашка... Поверь мне, придет... А у нас здесь скоро рудник строить начнут, железную дорогу соорудят... Не хуже, чем в городе... И ты человеком будешь...

Возвращаясь с охоты, я набрал в сосняке шишек, и баба Устя разожгла во дворе самовар. Дым был ореховый, тяжелый. Он висел над двором и пах нежно, тонко, пах так, что принюхивались собаки. Я сидел на лавке и думал о Харитине.

«Она хорошая, а я, ненормальный, боюсь ее. Хорька добрая, заботится обо мне. Разве еще кто-то заботился обо мне так? Мама? Но мама другое дело... Хорька сильная, ласковая... Мне будет с ней хорошо и спокойно...»

К чаю подросла Харитина. Она переоделась, во рту папираса. Большая грудь переваливалась под мужским выцветшим пиджаком. Птичьи глаза остановились на мне, счастливые, возбужденные. Харитина воткнула руки в бока.

— Чаи гоняете, голубки сизокрылые? — В сумраке ее лицо было зеленоватым. Светлые пряди лежали на прямом лбу густо и четко. — Гоняйте, гоняйте... Бог вам в помощь...

— Снова дымишь? — спросил дед Софрон.

— Дымлю, — рубанула Харитина кулаком. — Дымлю, дядя Софрон... А чего мне?

— Лет-то сколько?

— Двадцать три, дядюшка, двадцать три...

— Дрына тебе дубового надо, а не папиросу...

Хорька засмеялась. Пиджак расстегнулся, открыв полную грудь. Харитина провела по ней руками.

— Эх, голубки, да и вправду бы дрына мне, — она притопнула сапогом.

Баба Устя осуждающе покачала головой, а Хорька запела, подступая ко мне:

Дайте дрына, дайте дрына,
Чтобы легче пелосся.
Я вахлачка, непутева,
В девках засиделася.

У нее дрожали выгоревшие густые ресницы.

— Чего разголтонила? — осек ее дед Софрон. — И так от собачьего лаю шум в башке...

Харитина обняла деда за плечи и пустила колечки дыма.

— Ты на меня голос не повышай, старый. Огребся тут. Много ли баба на радостях пошумит? Ты шуму-то настоящего и не слышал...

— Не кади на меня... Пришла...

— Ничего, старый... Подожди вот годок-другой: я тебе пошумлю. Я вам всем пошумлю: Фотею, тебе... Так пошумлю, что тошно будет. К тебе, старый, голубок наш, на тракторе приеду, под окно: гудеть буду чище вертлюга самолетного. С ума сойдешь, — она повернулась ко мне и спросила. — Так, что ли, голубок-сини очи?

— Перестань, сорока, трещать: и взаправду беду натрещишь. — Дед Софрон сбросил с плеч Хорькину руку и скрылся в сарае.

Ушла Харитина поздно, испив чаю. Я проводил ее до мостка за соседним двором. Она жалась ко мне и бесстыдно шептала:

— До тебя хожу... Ну? Аль страшна?

Я боялся ее зыбкой груди и рук.

— Пообвыкнешь — еще так ли понравлюсь, я ласковая, — говорила Харитина, поправляя на лбу пряди. — Куда твоей Галке...

Она смеялась и шла нетвердо, а на мостках побежала вперед, остановилась и крикнула мне в темноту:

— Ну, кержак, чего стоишь? Иди же за мной... Ох, тошнехонько...

Но я продолжал стоять.

Во второй половине сентября дед Софрон выпроводил меня домой. Ветер гнал над рекой паутину. Солнце за тонкими облаками грело скупое, но земля еще не остыла и жила сухим теплом.

Я плыл в старой лодке. Река сливала воду шумно, стремительно, и лодка поскрипывала, юля меж валунов. Рядом плыли комья пены, то снежно-белые, то розовые, точно остатки летних розовых облаков. Нас подхватывал слив, и комья бились о камни, стреляя холодными и колючими брызгами.

К исходу дня меня вынесло на широкий покой. По берегам стояла древняя пихтовая тайга. Солнце еще светлило ее темно-зеленую стену, и тайга отражалась в воде ясно и чисто, зелена прибрежную воду. Далеко на стержне черной глыбой виднелся экскаватор.

Подплывая, я заметил человека. Он зашел по грудь в воду и ковырял дно толстым ломом,

— Отдашь душу,— крикнул я, окунув в воду палец.

— Родина не забудет,— ответил парень.

Он был молод, но старше меня, лет двадцати шести, кудрявый, с темно-пунцовыми щеками, крупным ртом и хрящеватым носом. Мокрая, в масляных пятнах гимнастерка, прилипла к телу. Руки держали лом легко и твердо.

Я причалил к берегу и развел огонь. В лодке была рыба. Заварив уху, я лег у огня и стал смотреть на реку. Что-то невыразимо покойное было в ее тяжелом ленивом стоке. И уж ничего не возмущало ее, даже эта мрачная туша экскаватора с устало опущенной стрелой.

Скоро запахло вкусным рыбным наваром. Парень громко кашлянул и направился ко мне.

— Дразнит,— показал он на котелок и стал раздеваться. Обнажилась широкая, крепкая, в наколках грудь. Парень вытер ее мокрой гимнастеркой, разулся и повесил на кусты белье.

К вечеру резче посинело небо. Птицы утихли, спрятались на ночлег. Только весело в густой тишине потрескивал костер.

— Продрог малость,— сказал парень, садясь к костру.— Надо же: та сторона без валунов, а на этой стороне черт ногу сломит...

— Валуны помешали? — Я бросил ему фуфайку.

— Машину перегоняю...

Мне понравилось его тело. На гладкой лощеной коже играли блики костра. Руки, сильные, грузные, висели, не касаясь локтями туловища.

— Загораю четвертые сутки,— сказал он, наклоняясь к огню.

— Наверное, семья есть?

— Все есть, что надо,— парень повернулся к огню спиной.— Весной обженился, нынче квартиру дали. С жильем...

Серые волосы кольцами лежали на лбу. Когда парень оборачивался ко мне, из-под колец смотрели живые глаза, то хитро, то зло щурясь.

Мы разлили уху и стали хлебать.

На другом берегу в сумерках показалась чья-то фигура. Она подошла к воде и протяжно крикнула:

— Гри-иша-а...

Парень поднял глаза, молча отставил чашку и стал одеваться.

— После доем,— сказал он, натягивая гимнастерку.— Тут такое дело — жена пришла... Лодку дашь?

— Бери.

Парень торопливо обулся, прыгнул в лодку и отозвался:

— Плыву, Катя-я...

Они долго стояли на берегу, сливаясь в один расплывчатый силуэт. Потом сели и сидели до звезд. За реку прилетел филин и напугал их. Едва различимые, неловко прячась, они ушли от меня вверх по реке, а когда вернулись, над спокойем висела луна, и они не прятались, потому что прятаться было бессмысленно, а, может быть, потому что просто забыли об этом: здешний мир казался неизмеримо великим и неизмеримо пустым.

Проводив жену, парень возвратился ко мне и сел у костра.

— Вот такая наша жизнь, — сказал он и вдруг зло сощурился. — Хохол все: ушел за кабелем и пропал. Я ему, чучелу, говорил, что не хватит, а он уперся.

Я протянул ему чашку с ухой.

— Домой Катька звала, — виновато продолжал парень. — А как сейчас домой? Сейчас домой нельзя...

— Какая она у тебя? — спросил я.

Он отстранился, свел брови и стал рассматривать меня, точно я только подошел.

— Серая — посередке наполовину. Если надо — брюнетка, если надо — блондинка. Я на это дело не смотрю...

— Вот как...

— А как? На дурной вопрос и шальной ответ. А если по-честному, положи руку на сердце, как говорят, девка славная. Врать не буду — Катька некоторым другим по всем статьям сто очков форы даст...

— Я так и подумал...

— Это потому, что она ночью ко мне пришла. А что? Другая бы плевать хотела. А Катька пришла, — Григорий задумчиво похлебал уху и вдруг поскреб черенком ложки затылок. — А ведь правда — пришла. Черт-те что... Я только сейчас подумал: взяла и пришла. Интересно.

Он улыбнулся, глядя на огонь, пожал плечами и стал есть, останавливаясь и подолгу облизывая ложку.

— Вот оно как, — дивился он. — А в девках и потрогать как следует не разрешала. Бывало, стоим, она губу на губу и нос кверху. А сейчас пришла...

Склонив голову, он помешал щербу и снова заговорил:

— Наверно, всякому овощу свое время... Находим материк и высаживаемся...

— Какой материк? — не понял я.

— Это я так, иносказательно. Высоты зрелой достигаем, рубинового возраста — тридцати. Отец мой так говорил...

На другом берегу прогремела подвода. Григорий вскинулся и отстранил чашку.

— Хохол прирулил...

Я с интересом следил за ним. Он посуровел лицом, погрузнел. Весомо облокотясь на землю, смотрел в огонь. На щеках вздрагивали желваки, а острый кадык пилил шею — вверх-вниз, вверх-вниз.

Из-за реки слышались голоса: мужчины стягивали к воде кабель и галдели, поучая друг друга.

— Григорий, — наконец позвали оттуда.

Еще не стихло эхо, а Григорий был на ногах.

— Перевези, кореш...

Мы сели в лодку и поплыли. Вода чмокала о борта. Григорий опустил в нее руку и сидел молча. От лунного света блестела жестяная пуговица на воротнике его гимнастерки.

— Это очень важно — переправить через реку экскаватор? — спросил я.

— Нет, не очень. Но если разбирать и доставлять машину в объезд, месяца два надо... А так — завтра будем на месте...

Лодка толкнулась о берег. Я привстал и ощутил холод осенней ночи. Григорий выпрыгнул из лодки и оглядел кабельную бухту.

— Что? Поживее не могли?

К нему подошел высокий горбящийся парень и стал протирать носовым платком очки.

— Да уж прямо и не знаю... Вроде бы торопились, а вот только поспели...

— Торопились вы, — пробурчал Григорий.

— Никогда вам не угодишь, Григорий Иванович, — высокий парень надел очки и указательным пальцем прижал их к переносице. — Оделись бы потеплее, а то холодит...

— Ладно, — Григорий повернулся ко мне. — Ночевать будешь? Присмотри за огнем — в воду полезем...

Наверно, внутренне я давно был готов жить иначе, чем жил до сих пор. Конечно, я еще не верил, что смогу жить так, как живут эти парни, самоотверженно и цельно, но возвращаться в город значило для меня возвращаться к беде, к опостылевшему шурфу, к Шилову... Я с готовностью кивнул Григорию и поплыл на другой берег.

До утра парни раскатывали валуны, стоя по грудь в воде. Григорий коротко распоряжался, и его слушали, а когда выходили на берег греться, толкались и шумели, как ребятишки, а Григорий говорил, глядя в мою сторону.

— Чего зыришь, как сыч... Давай с нами, кореш... Научу работать. Если завтра не зачахнешь, сто лет жить будешь...

В конце концов, я разделся и вместе со всеми полез в воду.

С этого дня и повел счет своему трудовому стажу и веду до сих пор. Живу, где труднее всего и где больше всего во мне нуждаются.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Если в наше время зимой ехать поездом на восток от Новокузнецка, скоро мелькнет устье Мрассу с темными точками подледников-рыбаков. Слева надвинется волнистый хребет с обветренным рябым боком, справа холмы-увалы, один за другим, в темнолесье до южного, в дымке, горизонта. Долина сузится, поровнеет и станет видно, что она грузно засыпана снегом, голубовато-искристым и плотным. Снег набит в заросли пихтача, в березовые колки, но вовсе его много в молодых ивовых кустах, которые тянутся вдоль железной дороги сплошняком.

Через полчаса город. На станционном здании, кирпичном купеческом домике начала двадцатого века, толстушками-буквами напи-

сано — Междуреченск. Скученный, игрушечный, совсем молодой (он выстроен за несколько последних лет на болотистой здешней низине в центре горношорской тайги), город кажется еще меньше в окружении лбистых гор, а сверху, должно, представляется рыжеватым зрачком глаза на фоне белых снегов и пихтовых ресниц прилегающего к нему дремучего черногорья.

Здесь в декабре 1970 года на горе Югус состоялись соревнования молодых лыжников Российской Федерации. Возле окраинной гостиницы «Турист» на берегу Томи, откуда открывается панорама слаломной трассы, встретились два человека, оба на лыжах, рослые, лет обоим за тридцать, посмотрели друг на друга урывками, потом внимательнее и, наконец, один подошел к другому, спросил:

— Родионов? Александр?

— Родионов, — ответил второй, вытирая вязаной перчаткой подбородок.

— Здравствуйте, Александр, — голос первого волнительно зазвучал. — Не узнаете, правда? Виктор. Вспомнили? Еще буран с дождем, а мы с вами провода очищали? Харитина, вы и ваши друзья... После вы проводили меня на самолет...

Родионов сузил глаза, всматриваясь.

— Я-то ломаю голову: «Ну, где видел этого парня?» — выдохнул он и, воткнув палки в снег, протянул руку. — Конечно, вспомнил... Ну, здравствуй, дружище, здравствуй. Что, к нам? Соревноваться?

— Какой из меня спортсмен? — отмахнулся Виктор, сияя улыбкой. — Возраст не тот да и вообще... Я от газеты...

— В газете, значит?..

— В газете...

— Вот видишь, как жизнь нас устраивает... И встречаемся... — Родионов не договорил. К ним подошли женщина и девочка, тоже на лыжах. Девочка лет шести, в оранжевой паралоновой куртке с капюшоном, из-под капюшона рыжие бровки и глазки выглядывают капризно и дерзко. — Познакомься, жена и дочь...

Был ясный солнечный зимний день. Далеко на востоке вздымались к небу горы Кузнецкого Алатау, ясно очерчиваясь снежными вершинами на глянцевом небосклоне. Здесь же, в междуреченской долине, небо выпцвело от крупного солнца; в бледно-синюю высь поднимался крутобокий Югус, поблескивая вырубленной в пихтаче извилистой просекой. Над замерзшей рекой едва пробежал ветер, принося из города запах тепла и дыма. Повсюду мельтешили разноцветные костюмы спортсменов; на белом снегу контрастно и выпукло чернели гражданские платья зрителей.

— Не правда ли, у нас хорошо? — спросила жена Родионова, показывая за реку, где молча и торжественно замерла тайга. Виктор заметил, что на солнце лицо женщины посветлело, и хотя нельзя было назвать его молодым, это лицо, но черные блестящие глаза по-своему его оживляли и делали привлекательным. — Вот здесь, на этом месте, будет построен большой спортивный комплекс.

— Мне говорили, — ответил журналист, кивая головой, — у вас здесь очень уютно...

— Посмотрел бы, что раньше было, — вставил Родионов. — Болото смертное... Приходилось бывать — железную дорогу строил...

— Ты у меня где только не был, — бросила жена. — Сейчас рассказывать начнешь? Так и будем стоять...

— Отчего сейчас непременно? Мы и вечером об этом поговорим... А, Витя?

— Можно поговорить...

— Ну, вот и добро... А сейчас прокатимся. Пока парад, то да се... Круганем по тайге между делом, а потом и посмотрим...

Виктор согласился — было любопытно узнать новое о Родионове, и они вчетвером канатной дорогой поднялись на вершину горы, пошли горбатой хребтиной. Накатанная лыжня четко лежала на снегу. Удивительный покой и тишина скрывались под грузными заснеженными пихтами. Было совсем тепло и так приятно пахло тайгой, что хотелось коснуться языком тенистого корья деревьев и облизать его. Веяло свежестью от стерильно чистого снега, от пушистых легких шапок на пеньках с прозрачными сосульками, от смолистых веток. В просветах между пихтами с вершины хребта был виден город, освещенный солнцем и пестрый от крашенных домов, с прямыми короткими улицами, зимой тихими и прозрачными, а летом обязательно гулкими и в зелени, потому что иначе просто невозможно его представить... За городом белая полоса другой реки, с буграми островов и мостом, а дальше опять горы, Лысуха, Казыр. Между ними извилистая логовина, постройки, дым.

— Там начинаются шахты, — сказал Родионов, догоняя Виктора и показывая палкой в сторону лога. — Шахтер я теперь, дружище, шахтер.

Лыжня свернула в покоть и понеслась между деревьями, виляя и прыгая на завалах. Родионовы скользнули вперед и, мелькая за густым забором подлеска, понеслись вниз. Виктор осторожно покатил за ними, выбрался на просторную дорогу, упал. Но по накатанному спуску съехал быстро, даже лицо зацепало от ветра и зарябило в глазах от мелькающего кустарника.

Поднялись на гору еще раз, снова скатились, и приятная бодность охватила Виктора, будто только этого ему и было нужно: свежего воздуху, крутой горы и пихтового каменного безмолвия, а еще солнца и солнца. Раскраснелся, исходя парком, он побежал на слабомную трассу, думая на ходу, что обязательно напишет об этом дне, напишет, как красиво и чисто в горношорской тайге, как свежо и пряно пахнет морозный воздух.

Во второй половине дня он пришел к Родионовым на пельмени. Хозяева тоже едва успели прийти, и пельмени стряпали наскоро, все четверо. Мясной свежий фарш, видом будто арбузная мякоть, с луком и перцем пах далеко ароматно и вкусно. Хрумкала тугим промятым тестом хозяйка, и приятно было сидеть на кухне, чуть тесноватой, с низким потолком, и слушать треск в печи. Родионов-

ская девчушка, лицом ни в отца ни в мать, на что Виктор обратил внимание, давно подобрела и, топорща глазенки-рыжики, катала сочни. Родионов сидел купцом и грузил сочни мясом. Александр делал пельмени по своему вкусу, большие, чепчиком вниз. Виктор же, наоборот, наловчился лепить маленькие, ровные, один к одному. Лепил и слушал хозяина.

— Три года здесь живу, в Междуреченске... Как женился... Учусь в институте на вечернем отделении. Дочь воспитываю... В общем, все по уму, как говорят... Окончательно переквалифицировался на горняка... Работаю под щитом, выполняю решение съезда по производительности труда... Вполне серьезно говорю... Сто тонн высококачественного угля на брата... Будет!

— В тайгу не манит? В глушь, на стройку?

— Я ведь не романтик, Витя... Я сознательный труженик... Печитаю необходимым, можно и в глушь, а так, от безделья, смысла нет... А, с другой стороны, я, можно сказать, твердо стою на точке зрения, что нам следует не вширь раздаваться сейчас, а вглубь.

— Он у меня рабочий философ, — усмехнулась жена, подвигая Родионову сочни.

— Не рабочий философ, а рабочий и философ, милая моя, — поправил хозяин. — Это не одно и то же... И вообще, а почему бы мне не быть философом?

— А сейчас что ни человек, то мыслящая личность...

— Очень даже хорошо, если иронию отбросить... Я, например, печитаю своим долгом поговорить о работе с философской точки зрения, потому что другому-то и говорить об этом невозможно: он представления не имеет о настоящей работе и цены ей не знает. — Родионов выпятил нижнюю губу, что должно было означать по всей вероятности ходячую фразу — вот так вот! — и положил очередной пельмень на доску. — Труд — это сейчас все: и благородство, и мера способностей, и любовь... Да, да, я повторяю, и любовь, самая настоящая любовь, какую мы испытываем к женщине... Вот ты смеешься, — повернулся он к жене, — а ничего смешного, между прочим, нет... Мы закладываем это чувство, — продолжал Александр прежним тоном, — и закладываем прочно... Хотя не надо, конечно, самообольщаться... Другим--то уж сейчас кажется, что работа вовсе и не работа, а что-то под вид удовольствия, пляски... Это, в основном, те, которые сами-то пороку не нюхали: где посмотрели мимоходом, где у телевизора насиделись, где в кабинете додумались.

Родионов сидел рослый, плечи-валуны, кулачищи — любо посмотреть, будто медные черпаки давнишних времен, лицо костистое, зарумянилось от прогулки, печной жары и слов.

— Человек получает воспитание в детстве, — говорил он, — а после этого идет либо к своему величию, либо к падению... Да... человек меняется в потомстве, в детях... Детей воспитывать надо... То, что взрослому привилось внешне, у ребенка становится внутренним... До совершенного человека дорога длинная... — и вдруг спросил. — Харитину-то помнишь?

— Вспоминал... Где она, интересно?

Родионов неловко улыбнулся, сронил брови.

— Нет больше Харитины... На тракторе упала в обрыв в 66 году в январе... Дорогу прокладывали в горах, зимник... Похоронили...

— Да что вы говорите...

— Уж так... Жить, как мы тогда жили, надо уметь... Да и сейчас... А Харитина любила тяжело жить... — Родионов подумал и добавил: — Сколько воды утекло, а? Подумаешь другой раз, будто огромную жизнь прожил... А жизнь-то едва начинается...

— Базик ваш как? Мать?

Александр ответил не сразу. Он посмотрел на жену, подумал, опустил руки...

— Я об этом как раз и подумал, когда сказал, что огромную жизнь прожил... Сколько людей прошло мимо... Сколько людей потеряно, не счесть... — Он еще раз виновато улыбнулся. — Обещал никогда не вспоминать, но не вспоминать невозможно. Как-то все складывается в жизни...

И Родионов начал рассказывать.

...Ночью Виктор лежал на кровати в горисполкомовской гостинице — обычной квартире из четырех комнат в одном из домов на центральном проспекте. Он лежал и думал о Родионове, о его рассказе. Пахло кислой капустой: на первом этаже дома размещался овощной магазин. Наверху что-то без конца роняли на пол, похоже, бильярдные шары. Виктор лежал и перебирал в памяти подробности услышанного.

— В родной город, на Базик я попал в 1967 году, — с этого начал свой новый рассказ хозяин.

Поезд остановился у нового вокзала. По просторному перрону катались почтовые тележки. В сквере, где мы с Галкой когда-то ели мороженое, густо разрослись клены. За путями, на месте деревянной базиковской бани, трещал кран, поднимая кирпич на остов многоэтажного здания.

Было утро. Нежаркое солнце поднялось над крышами, бросая резкие продолговатые тени. Прошли носильщики, на ходу выкуривая сигареты. Из окна вокзала человек в железнодорожной фуражке крикнул кому-то:

— Семен! Семен Ильич! И на меня булочку прихвати.

Наш Базик застроился, ступел. Среди новых рубленых домов бубновская изба казалась маленькой, кургузой. Во дворе хлопала половики тетя Маруся. Дядя Вася поливал огород, растягивая черный шланг.

На месте нашего дома улыбался верандой другой, из бруса, с железной крышей. Во дворе на куче песка сидел малыш и крутил глобус. Это был мой давнишний глобус, на котором я искал дедов хутор. Я узнал его по красному пятну, и у меня ёкнуло сердце.

Рядом стоял ветхий, побеленный, с покосившимися воротами

громовский домик. Дядя Афоня Громов, старый и трезвый, сидел на лавке. Одетый в полотняную рубашу с поясом, он держал в руках солдатскую фуражку.

Громов узнал меня.

— Смотри-кось, а? Никак Санька Родионов? Мать! — позвал он жену. — Ты какую беду там делаешь? Ступай сюда! Санька Родионов объявился...

Тетьа Дуся вышла за ворота.

— Вот тебе и сон, отец... А ты говорил — сдуру. Что я увижу, обязательно сбудется...

Громовы собирались завтракать, и я угадал к столу.

— Приехал, значит? — без конца переспрашивал дядя Афоня. Он переменял рубашу и расчесал седые волосы. — Живой-здоровый? Оправился, смотрю... Видным стал...

Он бесшумно хлебал окрошку, пережевывая кусочки колбасы передними зубами.

— Вот они и детки наши — растут. Давно ли без штанов бегал? Только что, помнится... А сейчас, смотри, какая беда... — Он поднимал глаза на суетящуюся тетю Дусю. — Впрок хлебушек идет, впрок. Давеча ходил в магазин, Серафонтова посмотрел, Ваньку... Знаешь, какой стал? И не говори. Представительный, на пальце кольцо с пробой. Ну, прямо любо-мил...

Я чувствовал себя скованно, потому что ждал главного разговора: о матери и бабе Клаве. Дядя Афоня догадался.

— Мать-то с бабкой не дожили... Вот бы на тебя взглянули... Тут и поплакать не грех. Ушли, царство им небесное...

— Знаю, дядя Афоня... Я в море был, в плаванье. Ничего не поделаешь. — Встретив его укоризненный взгляд, я попросил: — Проводите на кладбище... Я, собственно, вот повидаться...

— Обязательно провожу, — согласился он быстро. — Похлебаем, да и что нам...

По дороге Громов живо рассказывал, что вылечился от водки и почувал вкус к жизни.

— В бога не верую, — сокрушался он. — Умирать скоро надо, а не верую... Язви ее, эту жизнь. Все нервы перематывает, а любишь ее. Не хочется помирать-то...

— Кому хочется? — сказал я. У меня было горько на душе.

— Хочется, хочется, — быстро повторил Громов и взглянул на меня ясными старческими глазами. — Вот, к примеру, твою мать возьмем. С готовностью померла. Все о тебе переживала, переживала и померла. Белый свет стал не мил. Это я с точностью знаю, что ни от какого она воспаления померла, а от переживания...

Я вздохнул: начинался главный разговор, неприятный.

— Сообщенья ей надо было, — продолжал Громов. — Сообщенья от тебя, что ты жив и здоров. Каждый день сообщенья. А как его нет, она и болеет...

— Я писал, дядя Афоня...

— Хе, писал... Я и не говорю, что не писал. Писал, конечно.

Только ведь в чем разговор? С готовностью померла. А это уж достоверно. Захожу к ней как-то, она сон рассказывает. Будто посещает ее нечистая сила. Придет ночью, волосатая, пупыристая, и уманывает. Вот, мол, пойдем да пойдем. К сыну приведу. И мать согласилась. Смотрит и, правда, — ты лежишь, красивый такой, раздетый, как царевич, и мертвый. Мать упала и давай сатану просить, чтоб навечно с тобой оставил. Упросила, а через несколько дней и померла...

— Не может такого быть...

— Это как — не может? — обиделся дядя Афоня. — Я сам в бога неверующий. А то сон. Сон — дело житейское. Что человек захочет, то ему и приснится. А то — не может быть... Вот, допустим, как я от водки вылечился? Думаешь, какие лекарства примал? В душу они катись. Душевно я решил бросить пить. А с чего? Набрались однажды с Васькой Бубновым, иду я домой, а навстречу кум. Думаю, как так? Кум этот помер, слава богу, а тут живехонький, язви его. Идет, ага. Давай, говорит, кум, пойдем — еще выпьем. Я — выпьем: радость какая — человек ожил. Что значит? Сидим, пьем, балясы точим, чокаемся и все такое... Кум зачал меня к себе на жительство призывать. И вдруг меня — бах по башке. Смотрю — кругом ночь, глаза выколи. Сижу я на кумовой могиле и с крестом чокаюсь. Веришь? Не помню, как домой прибежал. И зарубил пить. Это значит, с чего, надо полагать? Сон мне лунатический был. Нельзя стало моему организму с водкой соревноваться. Он, организм-то, и сказал: к куму пойдешь, еслив не бросишь пить. И я бросил. Вот что значит сон...

— Складно, дядя Афоня, — сказал я.

Громов поджал губы.

— Когда правда — всегда складно. А я тебе правду говорю, чтоб ты знал. Вот об матери. Я к чему свою речь веду? Виноватый ты, Александр, что мать рано от жизни ушла. Чего она тут одна? Святая женщина была, мать-то, а сын уехал и, как скикало, пропал. Ей белый свет опостылел. А знаешь ты, что такое белый свет? Я себе и могилку вырыл и крест поставил. Иду другой раз на кладбище и смотрю на свою могилку, будто представляю, как после меня будет. И до слез в землю неохота. Дурак был — полжизни пропил.

— Я не от добра из дому ушел, — хмуро сказал я.

— Разве не помню, — добрее произнес Громов. — Помню. Да разве это оправдание?

Кладбище было за картофельным полем, на сопках. Дядя Афоня провел меня задами, показал могилу, возле которой молилась старуха. Громов попросил ее помянуть раба божия Афанасия и, отойдя, засмеялся, точно испытывал удовольствие. Показал могилу кума, а после, поплутав по кособогу изрядно, остановился у двух осевших бугров. Серые кресты невысоко торчали над землей. Вокруг росли березы и стоял кладбищенский запах.

— Прими яичко, покатай на могиле, — сказал Громов, протягивая мне несколько яиц. — Все матери спокойнее будет...

— Теперь ей и так спокойно, — я отстранил его руку.

— Уж ты, Александр, не жесточись, — Громов опустил на корточки, подровнял холмики и стал катать яйца то к кресту, то от креста. — Это по нашему, по народному обычаю следует. Это от нашей русской непрерывности. Не напрасно человек-то прожил: вон какого тебя белому свету оставил. Следует поблагодарить человека. Все, помню, суежилась покойница. — Громов вздохнул, разбил яйца и раскрошил их по холмикам. — Все веселая такая, счастливая. А какое счастье? С молодости одна. И другого мужчину с ней никто никогда не видел. Все добрые люди скажут: чиста была. Соседям помогала. Вот я, к примеру, пропойца был и всякий такой нехороший. А приду к твоей матери, она и угостит, и поговорит, так что на душе полегчает...

Я стоял и думал: неужели нет другого конца, кроме этого — с крестами?

— И бабка была услужлива, — продолжал Громов. — Бабка-то Клава. Трясется, бывало, а по двору ходит, что-то делает. Годов своих не помнила, а все шамкала: как нонче хорошо. Тут уж перед смертью к ней старик Бубнов сватался. Ей-богу, не вру. Как остались Бубновы-то без дочери, так и размякли: что к чему приложить и зачем — не знают. Старик и пошел к вашим. Бабка, давай, мол, перед смертью народ посмешим, обженимся. А бабка ему: ты с ума, сынок, спятил. Как я на том свете Семену в глаза смотреть буду? Говорю, годов не помнила, а это... Так и померла: все к Семену и к Семену... Постоянная у вас семья, однонаклонная...

— Ладно, пойдем отсюда, дядя Афоня, а то ты меня уболтал не ко времени, — сказал я нервно.

Громов поднялся и, не глядя на меня, пошел с кладбища. Я не окрикнул его, не вернул: худая сгорбленная фигура незаметно скрылась в кустах. Упав на колени, я отстоял несколько часов, выпрашивая у матери прощение.

Возвратясь в Базик, я зашел к Бубновым.

Дядя Вася встретил меня у крыльца и оглядел хозяйским взглядом. Потом протянул руку, усадил на лавку под окном и сел сам.

— Обидел ты дядю Афоню, — сказал он, опустив на колени руки.

— Как-то так вышло...

— Хошь ты и здоров, Санька, а без ума... Человек к тебе с открытой душой, а ты, как битюг...

— Накаловался уже?

Дядя Вася протяжно вздохнул.

— Эх, Санька, Санька...

Тети Маруси не было дома. Мы прошли в избу. Хозяин показал на диван и полез в подполье. Пока я рассматривал знакомое убранство комнаты и вспоминал, как сидел на этом диване много лет назад и рядом была Галка, Бубнов достал из подполья вишневку и накрыл стол.

— Все вы такие, — ворчливо продолжал он. — Да и что с вас взять?..

Он застегнул на горле рубаху и потер ладонью шею.

— Хошь зятка моего коснись, хошь тебя, хошь другого кого — один хрен. Бесчувственные...

— Пороть некому, — сказал я впервые с улыбкой.

— На кой черт ты сдался... Связываться с тобой... Бери вот стакан, пей...

Он выпил вино мелкими глотками и перевернул посудину.

— Как живете? — спросил я.

— Чего не жить? Мне жить можно: я от людей не прячусь. Мы, старики, поудале вас. Вот организовали дружину скорой помощи. Ежели у кого что случилось — ушиб там или порез, или вон как у соседа-татарина баба голову самому-то порешила тарелкой, мы помощь окажем: специально нас выучили перевязи делать...

— А в поселке что?

— Сносить будут... Года три грозятся, как не больше. Приезжал уполномоченный несколько раз, обсказывал, какие дома будут строить... Теперь уж скоро. Может, в каменных домах под старость удастся пожить...

— Поживете, — заверил я.

— А больше чего тут? — продолжал Бубнов. — Больше ничего. Верка Синельникова, помнишь ее? Толстая такая девка была, училась с вами. Два раза двойню подряд принесла, а тут четырем раз-родилась, как сдурела. Так мать ейная, рассказывают, свекровь, то есть... Может, знаешь Воскобойниковых, на Цветочной жили? Верка с парнем ихним живет. Воскобойничиха в насмешку над снохой свинью Веркой назвала... Там что делается...

— Ваши как? — снова спросил я, стараясь не выказать особенного любопытства, и почему-то вспомнил, что когда-то давно мечтал вернуться на Базик через много лет и чтобы меня никто не узнал, кроме Галки. Я смутился и прибавил. — Зять... В гости-то ходят?

— Март? — переспросил дядя Вася, пожевал губы. — Что я тебе скажу? Было человеком стал, на повышении был: работал по партийной линии... Да вот шибанули. Теперь и не знаю, что делает... Не спрашиваю...

— За что шибанули?

— Много нам говорят, — дядя Вася поставил локти на стол и вытер кулаком вогнутые щеки. — Если шибанули, знать, есть за что...

Бубнов подумал, вскинул руки и усмехнулся.

— Как не за что? — он наклонил к плечу голову и посмотрел на меня откровенно. — Я и то вижу: сердце обливается. Моего зятка, я тебе скажу, не то что на партийную работу, близко к партии подпущать нельзя. Уж не хотел говорить, да скажу...

— Что такое? — помедлив, не выдержал я.

— Не было человека и это не человек. Горе одно, — дядя Вася перевернул свой стакан в исходное положение и снова разлил вишневку. — Я сейчас в их дела не встречаю; как хотите, так и живите... Хошь на головах прыгайте...

Я терпеливо переждал молчание, и Бубнов продолжал:

— Конечно, ихнюю, сомовскую, семью с нашей не сравнить. Сват-то, он всю жизнь в начальниках проработал. Грамотой уж, наверно, поболе нас с матерью. Там в квартире всякие финтифлюшки, поперву не разобраться. Так и что с того? Чем хвастаться? А куды там! Придет зятек в гости — на «Волге» все разъезжал — и начнет выкомаривать: то ему не так, это... И сказать мы не можем, и стол накрыть...

— Он и раньше был такой, с гонорком, — сказал я, поддерживая разговор, а самого так и подмывало спросить: а Галка?

— Нашел гонорок, — ворчливо ответил Бубнов и опустил глаза. — В чем он? Другой бы и заметил что, так из уважения к тестю промолчал. А это не гонорок... Он, зятек-то наш, привык смолodu дармовой хлеб есть, его с этого хлеба и заносит...

Дядя Вася пусто посмотрел перед собой.

— А сам-то, извини меня, ни бэ ни мэ... Знает свое: галстучек напялит и водку жрать. Я говорю — воспитанный человек, инженер, напьется, как свинья, и куражится. — Дядя Вася обратил на меня глаза: они были холодные, рассерженные. — Я работаю, я работаю, — передрознил он Марта, изобразив на лице слащавую гримасу. — Работник — из чашки ложкой. То в одно место ткнут, то в другое. А с чего? Он смолodu к усердию не привык, — наклонясь ко мне, прошептал Бубнов. — Он ничего никогда не делал, Санька. Он топора в руках не держал, — Бубнов выпрямился, помотал головой и быстро повторил несколько раз: — Нет-нет-нет-нет, пустой человек...

Он прищурил глаза и снова потянулся ко мне.

— Это же надо такое придумать: девку с лестницы пихнуть, чтоб дитя не было...

— Кто так? — вырвалось у меня.

— Зятек... Поехали купаться на разъезд, стали по лестнице спускаться к железной дороге в выемку, он Галку-то возьми и толкни... А она с ребенком была... — дядя Вася откинулся и сложил на груди руки. — Ну вот и спрашивается: есть у него ум или нету? Порядочный он или непорядочный? Бестолочь, ей-богу. А теперь Галина что? Детей у нее нет и не предвидится. Какая у нее жизнь? Нету жизни. Женщине обязательно ребенка надо, а иначе она, как туча без дождя: гремит, а без толку. А он что, зятек-то? Еще и выпрягается: не будем ребенка в приюте брать, пусть сама рожает... Дурак, говорю, ты, Март Валерьянович, дурак и не лечишься...

Дядя Вася выпил и сердито почесал локоть.

— А поговорить? Тут язык без костей. Откуда что и берется, — не затихал он. — В момент наворотит семь верст до небес и все лесом. И ручкой взмахнет, и бровь поведет, и так из себя персону сдает — ни дать ни взять — фра...

Слушать его было больно. Казалось — в комнате духота. Я поднялся и раскрыл створки окна.

— Ничего?

— Ничего, ничего, — дядя Вася тоже поднялся и посмотрел на

улицу. — Матери где-то долго нет: она бы рассказала... Язык не поворачивается, честное слово. Сам посуди. Разойдутся. То он приводит, то она, в одной квартире живут. Да разве этого делать можно? А потом укоряют друг друга. Глаза бы не смотрели, — дядя Вася поскреб клеенку толстым ногтем. — Ну, ладно, — снова начал он, — всяко бывает. Вот мы с матерью, нас возьми; тут тоже нечего греха таить: все получалось, но опять же никто из людей не скажет, что мы без уважения друг к другу относились. Всякий скажет — любили друг друга, — Бубнов порывисто вздохнул и опустил голову на сомкнутые кулаки. — Ей-богу, не знаю, как живут... Не знаю, не знаю...

Я ушел от Бубновых с тяжелым чувством. Мне навязчиво казалось, что вернись я домой десять лет назад, на свете бы все было иначе: и мама была жива, и Галка счастлива, и дядя Вася Бубнов радовался бы, и дядя Афоня Громов... Я с трудом убеждал себя; но как знать?! Как? Может быть, ничего этого и не случилось бы. А жил бы в Базике худоба Сашка Родионов, безвольный, слабый человек, пил вино, валялся по кюветам и жаловался на свою бездельную горемычную жизнь.

Вскоре я встретил Галку.

Она стояла у ворот отцовского дома, поправляла прическу. Потом достала из кармана черные очки и вышла на дорогу. Она была в коротком светлом платье с монистом, шла, твердо глядя перед собой.

Я сделал вид, что не заметил ее, и Галка подошла сама.

— Саша? — спросила она неуверенно и сняла очки. — Конечно, Саша... Какой сюрприз!

Протянув мне руку, Галка покраснела.

— Совсем не ожидала...

Я разглядывал ее с нескрываемым любопытством. У Галки за десять лет отвердели глаза, щеки пополнели, округлились. Вообще, Галка сильно изменилась, только волосы и густые брови по-прежнему отливали вороньей чернотой.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, — смутилась она сильнее. Постояв с опущенными глазами, сказала: — Папа мне говорил, что вы приехали, но я, честное слово, сегодня вас не ожидала...

Полуденное солнце серебрило железные крыши. В кленовой прохладе щебетали воробьи. Огородами промчался смерч, поднимая пыль. Знакомо пахло нагретой полынью и еще чем-то необъяснимо приятным: я долго не мог понять чем, пока не наклонился к Галкиному плечу.

— Давно приехал? — спросила она, одолев смущение и перейдя на «ты». — Думаю, кто такой? Сначала не узнала.

Я волновался не меньше.

— А я сразу узнал...

— И отвернулся...

— Страшно...

Она засмеялась и дружески, как ни в чем не бывало, толкнула руку мне под локоть:

— Вот она, мол, ведьма... Идет. Да?

— Что ты... Как я могу так подумать?..

— Все можешь. Ты не лукавь: я ведь знаю, что постарела...

— Ну, это не тот разговор... Ты, как прежде, красивая...

— Конечно, — ответила она недоверчиво и подняла глаза. — Была слива красива, пока цвела...

Мы пошли в сторону от бубновского дома. На улице Профинтерна нас догнало такси, и мы уехали в центр, на площадь Победы. Обойдя городской парк, свернули к Набережной и сели на скамью.

— Станным ты стал, Саша, — сказала Галка и посмотрела на меня открыто. — Опрямленный, симпатичный...

— Ага, — согласился я, вспомнив, что рассказывал о ней отец. — Не то, что раньше... Раньше-то кого там? Сопляк...

— Не надо об этом, — попросила она. — Раньше вообще ничего не было...

Скрестив на груди руки, Галка отвалилась на спинку лавки.

— Хотя, должно быть, я вру... Был мальчишка, который обещал переломать мне ноги. Хвастун-мальчишка, — она помолчала, глядя перед собой. — Ты всегда был хвастуном, Саша... И сейчас хвастаешься...

— Я уж и не помню, каким был...

— Вообще-то и я не помню, — призналась Галка. — Столько лет прошло — вспоминать страшно.

Приложив руки к щекам, она на минуту оцепенела. По ее подолу пробежал муравьишко. Мне хотелось смахнуть его, но я не посмел.

— Какие дураки были — ужас! — Галка засмеялась сдавленным смехом.

— Так уж и дураки...

— Самые что ни на есть дураки... Дружили-дружили и нате вам: разбежались в разные стороны, как зайцы... — Галка опустила руки и остановила на мне взгляд. — Это мы врем друг другу, будто ничего не помним. Правда же, врем?

— Не знаю...

— Где тебе знать... Убежал и с концом, — вздохнув, она продолжала: — Но ничего... Вот ты вернулся, и я рада тебя видеть... Можешь поверить: я завидую той женщине, которая заботится о тебе, которая сделала тебя таким, какой ты есть. Ты, действительно, стал иным, Саша...

— А ты?

— И я стала иной... Только ты уверенный, полный собственного достоинства, а я так... ни рыба ни мясо...

— Что ты такое говоришь? — возразил я, пораженный ее скорым и ужасным признанием.

— А что ты думаешь? Может ли женщина быть счастливой, если на свадьбе предлагала себя другому?

— Это молодость, Галя, минутная слабость...

Она выпрямилась.

— Неужели ты так все понял?

— Так.

Она усмехнулась сама себе, горько, забывчиво, и поиграла мистиком.

— Глупо же мы поступаем иногда, дрянно и жестоко. Просто диву даешься... И можем себе прощать. Украшаем себя, милуем. Господи боже мой, даже говорим об этом...

Галка надолго замолчала. У меня от напряжения зуделось тело, будто в поры набилась металлическая пыль. Солнце отражалось в ее покрытых лаком ногтях. Я обратил внимание на Галкины руки: они были темные и опухшие; на правой руке чуть подрагивал мизинец.

— Ты зачем приехал? — снова спросила она.

— Когда-то я должен был приехать...

— Ах, вот как... Себя показать, других посмотреть?

— Это слишком грубо...

— И как ты все находишь? — не слушала она меня.

— Как и должно быть... Жизнь идет...

— Да, ты прав... Жизнь, несомненно, идет, — она вытянула ноги и насмешливо посмотрела на черные лакированные туфли. — А жизнь идет, идет, торопится, по тропочкам, по сопочкам... Песню такую пели в студенчестве... И некогда заботиться, — она не закончила, спрятала ноги и сказала: — Больно печет на солнце... Пойдем, где прохладнее...

Я предложил зайти в ресторан, пообедать.

— Можно и в ресторан, — согласилась Галка.

Мы зашли и сели у окна. Галка враз оживилась и на мой вопрос: «Как живешь?» стала рассказывать откровенно:

— Спрашиваешь, как живу? Ну, как? Как все... А вообще-то что рассказывать? — Галка махнула рукой. — Народ смешу... Это прожужжат уши, что ты равноправный человек, и упираешься... Но разве женщине с мужчиной сравниться? Другая молодка с молодости бьется, бьется, а смотришь — все по задворкам ходит. В этом же закон — из полтора десятка космонавтов женщина одна. Проще быть женой космонавта, чем самой летать. Вот так и живу...

— Непонятно... Да и хотелось ли тебе жить-то?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, хотя бы... Сделала ли ты что-нибудь доброе?

— Работа, Саша, это одна из возможностей ни о чем не думать...

— Чепуха.

— Это как дрянное искусство, — продолжала Галка не слушая, — которое отвлекает от жизни... Это, своего рода, все же найденная панацея...

Она высказалась откровенно, и я смутился. Галка неправильно поняла мое смущение.

— Прости, я совершенно забылась... Должно быть, ты не знаешь этого слова — панацея?

— Отчего же? Слышал и знаю, — после моего ответа щеки у Галки зарделись и она неловко зашевелилась на стуле. — Меня смутило не слово, — продолжал я, — меня смутила твоя уверенность... По-моему, работа — это необходимость, а не какое-то отвлечение... И вообще о работе нельзя говорить так легко. Это половина жизни нашей, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Это и радости наши, и трудности, и проблемы.

— Ну, какие там радости? — возразила Галка. — Работай, как лошадь и все в порядке...

— Что значит, как лошадь? К тебе и отношение будет, как к лошади. А человеческая работа — это достоинство, это и сложно и сладко, это величественно и горько... Разве это не проблема, когда горько и сладко?.. Я был знаком с одним инженером. Работник — золото, упивался работой, по двадцать часов пропадал на стройке... Все его хвалили, а жена, которую он любил, ушла к другому. Вот тебе и проблема...

— Все может быть, Саша, — неожиданно сдалась Галка, должно быть, просто потому, что устала от этого разговора. — Ты знаешь, я никогда не была привередлива... Проблема так проблема, радость так радость. Просто, наверное, я не испытывала ничего подобного, что довелось испытать тебе... Болтаю так, что попало... Строю умницу... Прости уж: всякая сосиска себя краковской колбасой хочет видеть...

Я смотрел на нее и признавался себе, что Галка по-прежнему красива, только с годами красота перестала быть броской, молодой, а скрылась, возмужала. В глазах читалась усталость.

По первой выпитой рюмке я понял, что коньяк ей не в диковину: она выжала лимон в фужер с минеральной водой и запила.

— Если совсем откровенно, Саша, — продолжала она, возвращаясь к первоначальному разговору, — то глупо я живу, конечно. Я и раньше глупо жила, а теперь особенно. Растеряла все по мелочам... Пью вот...

Она замолчала, блуждая глазами по столу.

— Знаешь, что я хочу у тебя спросить? — Галка снова обратила ко мне лицо. — Ты меня любил? — она широко раскрыла глаза, будто сама не ожидала этого вопроса и напугалась. — У каждого человека своя беда... Ты мне скажи откровенно — любил?

Она еще раз выпила коньяку.

— Это не праздный вопрос... У кого что болит, тот о том и говорит... Я очень хочу от тебя услышать: любил или нет?

Она взяла мои руки и стала ощупывать их, шершавые, сбитые. Я смотрел на вырез платья, шоколадный ложок, скрывающийся в накрахмаленных кружевах, смотрел и молчал, будто язык присох к небу.

Вечером мы бродили по городу, и я рассказывал ей свою одиссею. Как строил рудник на Чувовом займище, как под снегопад с группой сверстников пошел служить в армию. Служил на Дальнем Востоке, на побережье, одиоком и стылом. Видел голые серые ска-

лы, откуда нынче «бросают камешки в пролив Лаперуза». А тогда в них дико завывала пурга. И с утра до вечера билось о камни море...

— А дальше? — спрашивала Галка.

И я рассказывал, что служил легко, а отслужив, остался шабашить на Камчатке. С группой бичей ходил в море за сайрой. Это на Сахалине. После Сахалина работал грузчиком во Владивостокском порту, мотался по охотничьим хозяйствам Уссурийского края, был на Алтае, строил железную дорогу, работал в Братске — видал Фи-
деля Кастро. После работал в шахте...

— Рассказывай, рассказывай, — просила она.

— Тебе не пора домой?

— Что-то не хочется...

Я привел ее в гостиницу. Галка выпила чаю. Сбросив туфли, она залезла на кровать и продолжала упрямиться, чтобы я рассказал о себе все. Я вспоминал детали, она неудовлетворенно качала головой и под-
детски выдвигала губы.

— Как твою жену звать? — наконец спросила она.

— Фу, ты кудахватила... Для чего тебе?

— Хочу знать...

— Я не женат...

— Ох и врать...

В номер постучали, и дежурная по этажу предупредила:

— Девушке пора домой... Одиннадцатый час...

Галка замахала руками и стала шептать:

— Скажи — ушла... Да скажи и все... Беда какая: язык-то не отпадет...

Только тогда я понял, как она несчастна и одинока. Мне стало жалко ее до слез. Я подошел к ней, поднял с кровати и тепло по-
смотрел в глаза.

— Ну, зачем, а? Зачем, Галка? Я не хочу, чтоб завтра мы избе-
гали друг друга... Разве ты хочешь?

Она свела брови и дышала тяжело, громко. Потом опустилась в кресло и сказала:

— Ты прав, Саша... Дура я, вот и не знаю, что говорю. — Тут же протянула мне руки и тихо прибавила: — Проводи, Саша... Какой же ты мудрый, право...

Мне кажется, я ночевал в гостинице. Перед сном открыл бал-
конную дверь. Сквозняк поднял шторы, одну швырнул на стол, другой ударил по дверному стеклу. Передо мной легла белая тень —
в номер вошел человек.

Он подвел меня к балкону и показал вниз.

Улицы не было. Черный, тесный, от плеча до плеча, коридор тя-
нулся от балкона. В конце коридора, там, где было светлее, стояла
Галка и грустно, покорно говорила:

— Какая же я дура! Какая же я дура, Сашка!

Человек сказал мне:

— Иди, если хочешь...

Я пошел, но меня тотчас отбросило назад. Я упал на кровать и лежал, придавленный тяжестью. Неизвестный человек стоял у стола, спрятав под мышки руки, и следил за мной, блестя желтой окапиной вокруг зрачков.

Он был выше среднего роста. Лицо казалось знакомым: небольшой рот, татарский каленый цвет кожи; вогнутые щеки, изъеденные мелкими корявинами; прямо широкий лоб с редкими бровями, грузно, с напуском, поставленный над глазами, и глаза, маленькие, заплывшие.

Сквозняк утих. Я почувствовал облегчение, но продолжал лежать. Человек подошел ко мне и подал руку.

— Будем знакомы — Виктор, — он сел на кровать. — Вот и познакомились. А то я другой раз мрачно думал, что да как? Вдруг заерепенишься, а я человек невыдержанный: все испорчу. Нынче хозяйство свое обхожу...

— Какое хозяйство?

— Свое. Оно у меня не меньше, чем у министра внутренних дел, — сказал он. — И ответственность. Я людей делаю. Это хлопотно. Мне хороших людей делать надо. Мне за хороших людей платят. А другого делаешь, а он все смотрит, как бы свихнуться. Вот и хожу, ремонтирую: мозги вправляю. И нынче иду улицей, смотрю: девка под балконом стоит, моя девка. Трепаная-перетрепаная, ну вовсе ни для каких дел непригодная. Девка, которую я хрустальной делал. Я узнать ее не узнаю, отбилась от рук.

— Что тебе надо? — спросил я грубо и встал.

Виктор засмеялся. Он взял меня за руку и властно вывел на улицу. Мы пошли сквозь дома, людей, корпуса заводов, институты, сквозь все, что становилось на нашем пути. Стены пропускали нас, точно были из плотного воздуха, а когда мы останавливались, яркий рубиновый отсвет накрывал gobелены, окна, лица, машины, деревья и цветы. Было свежо, как ночью, но вокруг был день.

— Это рубиновый материк, — сказал Виктор. — Здесь твой дом.

Случилось чудо. Я оказался в замке. Со всех сторон во двор низвергались каскады багряной воды, стояли великолепные позолоченные скульптуры героев, и замок с широким расписным фронтоном рос из золотого песка. За каскадами рубиновым кольцом двор окружал тенистый, из дорогих самоцветов сад. А за садом аквамариновое небо.

С утра я должен был работать. В обед возвращался домой и гулял по саду. Или купался в багряной воде. Потом снова работал, но если хотелось, больше читал книги, рисовал, писал стихи и растил цветы. Со мной жили мама и баба Клава. Ночью ко мне приходила женщина. Она хозяйничала в соседнем замке. Женщина говорила, что она моя жена, подолгу разговаривала со мной на моральные темы, отпивая рубиновый чай из рубиновых же бакалов, снова уходила, лишь позволив коснуться губами ее плеча.

Однажды пришел Серафонов.

Светловолосый отяжелелый мужик, почему-то в круглых роговых очках, подошел ко мне в саду, протянул белую короткую руку и сказал:

— Вот и думай о тебе... Закрою глаза, кажется мне, что ты тощий сопляк и никаких. Уголь совковой лопатой кидаешь. А ты смотри, подлый, тебе на бойне быков бить...

Мы запоздало, по-мужски, обнялись и прошли в замок. Накрыв стол, сели по русскому обычаю...

— Водки, — сказал Серафонтов.

— У нас нельзя, — ответил я.

— Сейчас можно, — Серафонтов постучал кулаком по чемодану и достал две бутылки.

Мы выпили. Иван рассказал:

— Значит, говоришь, у вас насчет выпивки туговато? А у нас — ничего не скажу. Кому сколько надо, столь и бери. Правда, после семи вечера не дают...

— Работка у вас, — сказал я. — Не работка, а обеденный перерыв.

— Куда спешить?..

— Разве можно так работать?

— За деньги работаю... Сколько денег надо, на столько и делаю.

— Взгляды у тебя...

В столовую ворвался Виктор. Он разбил бутылки, прогнал Серафонтова, а меня отправил на работу.

— У тебя все есть... Что тебе надо? Ты посмотри за стенами нашими, как живут...

Я снова одиноко жил в замке. Улыбался маме и бабушке. Купался в багряной воде, гулял, читал книги, писал стихи. Снова ко мне приходила женщина, моя жена, и мы разговаривали о любви.

Кажется, прошло тысячу лет. Однажды я не удержался и, возмущенный, не отпустил жену домой. Мы вышли во двор. Рубиновая луна висела над головой. Грубо взяв женщину за плечи, я толкнул ее в воду и сам бросился за ней.

Произошло удивительное превращение. Женщина подплыла ко мне, обняла и увлекла на дно. Ее скользкие губы прилипли к моим губам. Я с трудом вырвался из ее рук, а когда всплыл на поверхность, вздрогнул от смеха, жизнерадостного и звонкого. Женщина брызнула в меня, ударив ладонью по воде, и поплыла к берегу.

— Иди сюда, — сказала она, ложась на мое белье. — Иди ко мне.

Ее глаза были большие, рубиновые. Она обхватила меня, прижала к себе, испугалась.

— Не трогай меня, Гунька... Не трогай меня...

Это была не чужая женщина, это была Галка Бубнова, красивая, черноволосая, с серпастыми воронеными бровями.

На другой день ее у меня отняли.

Я нашел Виктора. Он сидел в небольшой спальной комнате, освещенный рубиновым огнем, и стучал на пишущей машинке.

— Не хочу твоего мира, — закричал я. — Хочу к Галке. Жить хочу!

И тотчас я понял, что никакой это не сон. Просто я всю ночь был возбужден, блуждал по городу и думал бог знает о чем. Голова разламывалась от усталости и нелепых мыслей. Возвратясь к действительности, я увидел, что стою на уличном перекрестке недалеко от площади Победы. Светло. Шумно. На меня смотрят люди, мне стыдно и так хочется есть, что немного тошнит.

Зашел в ресторан, сел и заметил в дальнем углу человека. Будто знакомый. Кто же это может быть? Одет небрежно, лысоватый, мордастый, уставился на меня и тоже смотрит неотрывно. И вдруг вспомнил — Шилов, старый знакомый. Он сидел сгорбленный, играл пустым бокалом, раскручивая его за тонкую ножку. Встал и подошел ко мне.

— Что смотришь?

— Здравствуй, Шилов, — сказал я, жестом приглашая его сесть. Его крупное лицо чуть вздрогнуло. Он посмотрел на меня пристальнее, но вспомнить не смог и усмехнулся.

— Можя, где и встречались... Ить земля большая, а Шилов где только не был...

— Вместе работали... Ты, Раис Ашихмин — татарин, и я...

— Это заморыщ, что ли? А я вспоминаю, дурак. Скажи, пожалуйста. Откуда взялся?

— Приехал вот...

— Известно... На здешних харчах рожу не отъешь, — Шилов отрывисто засмеялся и сел. — Выпить, что ли, хошь. Так у меня нет... Сам жду, кто бы поднес...

Он остановил на мне взгляд. Его лицо было помято и серо. Глаза возбужденно холодные, будто он продолжительное время смотрел на огонь. Из рукавов черного измятого костюма торчали жилистые руки с желтыми пальцами.

— Не пью, — сказал я.

— Вот хохмач, — Шилов кашлянул и слотил слюну. — Вчера здесь с б... сидел. Я ж, поди, видел...

— Не с б., а с человеком... А что не пью — точно!

— Это для тебя она человек, а мы-то ее, слава богу, знаем, — Шилов засмеялся, показывая крупные обломки зубов. — Все попользовались...

— Перестань! — потребовал я, бледнея.

— Как хочешь, — Шилов пожал плечами. — Мне-то что... Нравится, бог с тобой... — И, поглядев на меня, продолжал другим тоном: — Хорош гусь, нечего сказать... Не пьешь, значит? От того и рожка — кирпича просит. И ручищи. Ударчик, наверно, килограммов пятьсот, а?

Он подержал мою руку, взвесил.

— Не меньше... Раз не пьешь, о чем говорить... Вот оно и счастье. В чем, спрашивается? В силе... Чтобы налился, допустим, тряхнул по мордам, коц! и глухо: малый с копытот долой.

Шилов задумчиво поскреб затылок и вздохнул:

— Я, друг, пью... Сознательно, понимаешь? Между прочим, все

пыют сознательно, только боятся в этом признаться. Я не боюсь: не вышло из меня передового борца, строителя коммунизма... Из всех вышло, а из меня не вышло...

Он был по-прежнему крепок, с бугристой тяжелой шеей, но что-то печальное было в округлости его спины.

— И не должно было выйти,— сказал я прямо.

— Да ну?

— Вот тебе и да ну...

Шилов недоверчиво качнул головой и вдруг спохватился, позабыв о прежнем разговоре.

— Ты Раиса видел? Король Раиска. Комфорт, я тебе скажу, у него полный... Там квартира углов пятьдесят: вся в коврах, в огнях и еще черт знает в чем. А одевается! И вообще, он мужик голова-стый, работать может...

— То-то и оно... А ты, я вижу, по-прежнему... языком.

— Как могу,— перебил меня Шилов.— Я об этом не думаю,— он посмотрел на вход и привстал.— Ладно, будет трепаться. С тобой, непьющим, тоска... А я вон кореша надыбал, пойду, слочу граммов двести на первый случай...

И пошел.

Я посмотрел ему вслед, подумал: можно ли такого исправить? Не о таких ли старики наши говорили, что его могила исправит? Деть его жалко...

Наскоро пообедав, я пришел в гостиницу и тут же заснул. Меня разбудила Галка.

— Ты не уехал? Ты никуда не убежал? — зашептала она, становясь на колени перед кроватью.— Боже мой, я думала, что не застану тебя. Боже мой...

И положив голову мне на подушку, Галка облегченно вздохнула, закрыла глаза.

Скоро я узнал о ней все. Об этом стыдно рассказывать, о ее жизни... Да и надо ли? Додумайте сами, не бог весть как трудно...

...Она упрашивала меня остаться в городе, упрашивала слезно...

Лето пахло июльскими грозами. В огородах расцвел картофель. Вьюны на оградах плели зеленую паутину. Безголосые петухи вспрыгивали на колья и рассматривали воздушную рябь. К колодцу ходили бабы с ведрами, сдирая босыми ногами густую сплетень мурашки. Мы бродили по улицам Базика, старыми поредевшими вырубками, и Галка повторяла:

— Ты действительно насовсем? Не обманывай... Ничего мне от тебя не надо... Хочу видеть. Хочу знать, что ты есть... Чувствовать хочу...

Я решил остаться.

Работа нашлась нелегкая, бойцом в горноспасательном взводе: сутки на дежурстве, сутки безотлучно дома на случай тревоги, сутки — свободный. Без конца тренировки, в дыму, в огне, в газах, с ре-

спиратором на спине — колоть дрова, выкладывать кирпичные стенки, разбирать. Мутрно и тяжело, но ничего не поделаешь, такая это работа — услуги горноспасателей требуются шахтерам в исключительных случаях, когда под землей беда.

Встречались мы с Галкой у Бубновых.

Дядя Вася в старости был хмурый и усердный. Он столбом ходил по улице, широко разводя носки. Раз в неделю, обычно утренней застью, Бубнов лез на крышу с ведром известки и белил трубу. Тетя Маруся на шестом десятке заболела, попортилась лицом, больше сидела дома и прибиралась.

Бубнов с годами не утих в разговорах.

— Как ты думаешь, Шурка? — спрашивал он меня. — Вот эти самые мичуринские участки... Налог будет или не будет?

— Не знаю, — отвечал я. — Да и вам-то все равно, дядя Вася...

— Обо мне какой разговор: можж, и все равно. Но опять же, с другой стороны — не сегодня помирать... Я соображаю: бесприменно налог будет...

— Почему?

— Потому. Вон Серафонтова возьми или Афоньку Громова. У Серафонтова что? Все... А у Афоньки? Солнце в оконце и то общее...

Я ходил по комнате.

— Серафонтов как лето, так всякую зелень телегами на базар возит, — продолжал дядя Вася. — А Громов ходит и у него за свою военную пенсию покупает. Это как?

— Конечно.

— У нас всегда так, — дядя Вася назидательно стучал пальцем по столу. — Сперва поблажку дадут, потом налог. Как раньше? То разрешат свиней держать, то налог забабахают, чтобы другие не перегибали. А что? Это тебе не тяп-ляп, а люди... Другие-то сразу свиноферму...

Галка приезжала без мужа. У нее были тихие, растерянные глаза, будто она каждый раз недоумевала, для чего ей вздумалось приезжать. На открытой груди блестели то кулон, то монисто. От нее пахло духами.

— Волосатика-то не привезла? — спрашивал отец. — Привезла бы уж, посмотрели...

— Не едет, — отвечала Галка.

— Скажи, пожалуйста... Не едет? Чего это? Хлеб не по вкусу?

— Может быть...

— Семейка, — вздыхал дядя Вася, — таракан да муха...

Тетя Маруся подсаживалась к дочери на скамью и затевала свои разговоры.

— Отпускает без скандалов?

— Я и сама дорогу знаю...

— Хи, девка, знаешь... Знать-то мало... Мужик все жж.

— Ты сидела бы, помалкивала... Мужик... — встревал в разговор дядя Вася. — Давно образумилась... Много на мужика-то своего глядела? Только и мысля, что к татарину.

— Иди ты к чөмору, старый,— ругалась тетя Маруся, кривя в улыбке темные губы.— Поговорить не даст. Бабский наш разговор, не сувался бы,— она вытирала рот кончиками сухих пальцев.— У нас тут давеча случай вышел,— продолжала она, близясь к дочери.— Это вот Серафонтики двоюродная сестра Маша Клочкова... Она перед школой жила с военным, домишко у ее был... Да знаешь ты... Рыженькая такая, горластая, с бочонок ростом, все в магазине скандалила... Травилась нынче...

— Мне какое дело? — спрашивала Галка.

— А вот так же,— тетя Маруся поправила на дочери монисто.— Все в деревню ездила. Ездила, ездила и наездила... Давай от стыда укусать...

— Я укусать не буду. Я повешусь. Надежнее...

— Типун тебе на язык,— тетя Маруся подпрыгивала на скамье и часто-часто махала рукой, будто отгоняла нечистую силу.

На меня эти разговоры действовали удручающе. Я понимал, что у Галки душевный кризис, и делал все, чтобы помочь ей.

Однажды мы ходили с Галкой в школу. Базиковская школа стала маленькой и тесной. Поначалу она вызывала у нас снисходительные улыбки, а потом от ее классов и коридоров повеяло такой грустью, что Галка привалилась к подоконнику и заплакала.

— Жить, Саша, охота,— сказала едва-едва.— Жить!

На обратном пути я как мог успокаивал ее, а сам думал о человеке, о том, что не теряет он естественных желаний, если он добр и честен. Я убеждал ее, что все еще может уладиться, потому что в ней не износились пружинки, которые влекут человека на большую дорогу жизни. Я говорил скороспело, но мне было жаль ее настоящему.

— Нет никаких дорог,— ответила Галка, успокаиваясь. Она уронила гвоздику, которую сорвала в школьном палисаде.— К чему ты мне это говоришь?..

— Чтобы помочь...

— Спасибо, Саша, но словами не поможешь, говорят...

— Я не понимаю.

Галка не ответила, глядя на Серафонтовский двор. Серафонтов-старший, без рубахи, в узбекской тюбетейке, суеился за оградой под раскидистым тополем, приседал, держа в руках канистру. Завидев нас, он спрятал за ствол посудину и заругался:

— Чего выставились? Огорода не видели? Ступайте себе, ступайте — тут вам не зверинец...

Галка усмехнулась и подошла к забору.

— Чем это вам тополек не угодил, дядя Миша?

Серафонтов набычился, обернув к нам прокаленное на солнце лицо.

— Мой тополек... На моем огороде растет. Что хочу, то и делаю.

— Почему не спилите, а губите керосином?

— Ты мне не указывай... Как хочу, так и делаю. Он мне, зараза, весь огород корнями спутал...

Галка прищурила глаза и задышала быстро.

— Сейчас комитетчиков уличных приведу... Они вас опутают рублей на сто за порчу зелени... Такое дерево губите... Души у вас нет.

Серафонтов опустил руки и нервно всколыхнул редкими белыми бровями.

— Кого там и влил? Ничо с ним не будет... Корнев поубавится и вся ерунда...

И тут же, поспешно взяв канистру, показал Галке, сколько в ней керосину.

После мы сидели на бревнах у бубновского дома.

— Вот так все,— сказала Галка,— спалить на глазах у людей красивое дерево—совесть не позволяет: соседи обсуждать будут, штраф принесут. А керосином сердцевину обжечь—само засохнет... Тогда и на дрова без зазрения совести...

— Отчитала ты старика—он и бадейку показал,—сказал я лишь бы что-нибудь сказать.

— Чего на него богу молиться? Он за свой огород с помидорами человека погубить может...

— Сразу и крайность,—укорил я добродушно.

Галка подняла на меня глаза, улыбнулась.

— Душеспаситель мой! Как хорошо, что ты есть!—она ткнулась лицом в мое плечо, пригладила волосы и задумчиво подула в прижатые друг к другу ладони. Голос стал сиплым, прерывистым.— Вот ничего будто и не делаешь для меня, а мне все равно хорошо... Как во сне. Приснится иногда, что на бревнах сижу, а вокруг невесть что, хотя совершенно ничего нет—только душа все равно выше неба, сама по себе...

— Можешь сидеть наяву, если хочется,—я тоже не понимал, что меня удерживало возле нее.

Она молчала. Сорвав кленовый лист, Галка раскрошила его на подол и по одному сбрасывала кусочки на землю.

— Подари мне что-нибудь,—сказала внезапно.—Я знаю, что скоро все изменится... Ты не сможешь сидеть со мной, да и не надо будет... Подари...

— У меня ничего нет...

— Какая жалость, Саша! Вовсе пустяковину и надо, а нет...—она смела с подола остатки листа и похлопала ладонь о ладонь.—Странно как-то...

— Чего же странного?—я не понимал ее.

— Да так... У тебя и вдруг ничего нет. Кто поверит?—она поймала мой недоуменный взгляд и покачала головой.—Не удивляйся, у тебя столько добра—царская палата,—и печально улыбаясь, погладила мягкими теплыми пальцами мою руку.—Совершенно странно как-то... Наверное, года... Раньше, бывало, в мире-го себя одного и знаешь. А теперь будто себя и нет, только другие... Подари мне запах твоих рук, что ли... С одним условием: навечно и мне одной...

Ожидая ответа, она прижималась щекой к моей руке.

— Знаешь, Саша, извини меня, но я скажу, потому что не могу не сказать... Я уверена — тебе не будет смешно, — опустив мою руку, она стыдливо отвела глаза. — Знаешь, я всегда думала о тебе, как о святом человеке. Только сначала мне нравилась эта святость, потом перестала нравиться. Я и на свадьбе всю кутерьму затеяла, чтобы посмеяться над твоей святостью: знала, что ты испугаешься со мной пойти... Правда, все обернулось очень печально, но я говорю правду. Как мне потом тебя не хватало! Честное слово, я мечтала о тебе после, если желаешь знать... К сожалению, поздно...

Она вдруг принялась целовать меня, заплакала, спохватившись убежала в дом и заперлась в комнате.

В этот вечер я долго бродил по городу. В душе творилось что-то невообразимое. Не помню, что занесло меня на железнодорожную разгрузочную базу. Студенты, молодые парни, таскали из вагона мешки с мукой. Я скинул пиджак и ухватил два куля, а мальчишки остановились и смотрели на меня, а я богатырски шел по мосткам и никогда еще не чувствовал в себе столько уверенности и силы, как в этот раз.

Еще заход и — еще два куля. Как давно, во Владивостоке, в порту, когда мне хотелось быть здоровым и сильным, и я работал с утра до вечера.

В расчет ребятишки протянули мне пятерку. Я спросил у одного из них, ушколицего, глазастого:

— Ты счастлив, малый?

— О, дядя, факт! — ответил он ломким басом, показывая деньги.

Я вернул ему пятерку и потрепал за длинные женские волосы: он еще не знал, что такое счастье.

А между тем близилась развязка.

Ночью была тревога, в шахте вспыхнул пожар. Мы спустились к месту очага по вентиляционному стволу, оборудованному наспех временным подъемом — бадьей для подачи в шахту бетона. Выработки плотно затянуло дымом и стремительно несло к стволу всю эту буровато-сизую массу, словно в гигантском дымоходе. Мы передвигались, держась за веревку, тщательно обследуя каждый метр пути: где-то здесь могли оказаться в беде люди.

Первого встретили на дощатом тротуаре. Он сидел скорчившись, лицо спрятано в колени, будто прикорнул на минутку. Двое из наших понесли его к стволу: пострадавший не подавал признаков жизни.

Второго обнаружили в нише. Он лежал на животе. Голова накрыта брезентом. Откинули брезент — живой: во рту трубка самоспасателя, дышит. Сквозь дым — безумные глаза. Когда понесли, он заметался на носилках.

С этим поднимался на поверхность я. Опасались, что начнет метаться в бреду и выпадет из бадьи.

Дав сигнал, я запрыгнул в посудину, где сидел пострадавший. Тотчас узнал его — Колька Шилов, похлопал по плечу: ничего, мол,

всё в порядке. Бадья вздрогнула и устремилась в узкую жерловину ствола. Она неслась вверх, скрипя и постанывая, кружась на тонком канате. В стволе шумел дым, вырываясь наружу. Казалось, что несешься сквозь грозовые облака.

Сто метров, сто пятьдесят... Я держался за дужку бадьи, сидя на утопленной кромке, будто в ступе баба-яга. К ногам прижимался Шилов. Чем выше поднималась бадья, тем явственнее, жутко и надсадно скрипел трос, перебивая другие звуки.

— Не оборваться бы,— ещё подумал я и тут же почувствовал, что тело стало необычайно легким. Ноги оторвались от днища, но через мгновение нащупали снова. И тотчас зашлось сердце: глубокий провал вниз, как на самолете в воздушную яму. Бадья ударилась об один борт, потом о другой, накренилась, и я вывалился из нее, крепко, до судорог, держась одной рукой за дужку, другой удерживая на весу Шилова. В тот же миг по пронзительному гулу падающего предмета я понял, что бадья действительно оборвалась, и мы повисли над гудящей бездной.

Я чувствовал эту глубину в двести метров. Я чувствовал ее ногами, безумно отыскивающими опору. Я чувствовал ее телом. Рука предательски скользила по металлической дужке. Шилов тянул за вторую руку, извиваясь в ошалелом испуге.

«Чего они там медлят, наверху? Спускали бы... Еще вздумают поднимать... Не удержаться одной рукой за скользкую дужку. Сколько сантиметров до ее конца? Не видно, черт побери, все застит дым. Надо же, скотины, каким подъемом работали...».

Шилов перестал извиваться, и мне полегчало. Я почти умолял его, чтобы он нашел в себе выдержку — висеть неподвижно. Еще немного, и там, наверху, примут решение — нас опустят вниз. Пожалуйста, Коля Шилов, возьми себя в руки, держись, Коля...

Я благодарен себе за то, что и в мыслях у меня не было избавиться от лишнего груза — человека, чтобы наверняка спасти свою жизнь. Дай-то бог каждому почувствовать в себе это, и тогда вы поймете, насколько хороши люди, насколько хороши вы сами и будете до конца жизни благодарны природе, что она сделала вас такими...

Дужка задрожала в моей руке и начала вырываться. Тело неминуемо огрузло, точно привязали к ногам мешок с песком.

Оказывается поднимают... Вот глупые... Скользит рука. Или мне кажется? Где он, конец дужки? Может быть, там остался крючок, тогда не будет этого тягостного скольжения... Или дужка гладкая, как прут... Вот, подлецы, как работали...

На поверхности было утро. Сквозь дым, вырывающийся из ствола, я увидел лицо девчонки — лядовой и крикнул:

— Закрывай живее дыру...

От волнения она долго не могла перекрыть ствол, а когда перекрыла, я с радостью разжал руку.

Несколько дней я не мог найти себе места: без конца в голову лезло одно и то же: в дыму витают Черномор с Русланом и леденя-

ще звенит канат. Я устал от этого однообразия, как устаешь от прилипшей песни, не мог сидеть дома, не мог спать. Наконец, пришел к Бубновым, попросился переночевать.

Лежа на кровати в сених, я думал о том, что со мною произошло. В крупной щели светила луна. Прохладная свежесть бодрила тело. По крыше ходила кошка, и я слышал в тишине скрежет когтей по кровельному железу.

Собственно, ничего не произошло... Еще одно маленькое испытание... как бывает в море, когда тонет корабль, или в воздухе, когда ломается у самолета крыло. Я выдержал это испытание.

Тихо открылась избушка дверь, и я увидел Галку. Она села на кровать и опустила горячую руку мне на глаза.

— Не смотри...

Ее голос прозвучал слабо и нежно. Рука пахла печеным домашним хлебом. Я зажмурился и слушал ее приглушенное дыхание.

— Давненько не показывался... Ждала, ждала, а тебя все нет... Вечер был сегодня — удивительно. Летучие мыши летали, и полыню пахло, как в детстве...

Она провела рукой по моему лицу. Ощупав подбородок, коснулась спинками пальцев щетины.

— Думаешь, чего это баба? Да? Думаешь? Я проститься, Саша, пришла... Уехать хочу, надолго-надолго, навсегда. Ты спишь?

— Нет.

— Спи, если устал... Я посижу...

Галка трогала мои волосы, вытягивала их и щекотала ими мои губы. В сумраке я видел ее лицо с большими неясными глазами, шею, плечи. Галка смотрела на меня и говорила шепотом:

— На улице луна, хоть иголки ищи...

Я, наконец, почувствовал тревогу в ее словах.

— Что-нибудь случилось, Галя? — спросил, положив руку на ее колени.

— Неприятности, Саша, как всегда, — ответила она просто. Галка посмотрела в сенную щель. Лунный свет проложил на лице се-ребристую полоску. Галка продолжала: — Правда, черт с ними, с неприятностями. Хочу ни о чем не думать. Ты чувствуешь — пахнет подсолнухами? Или это травой пахнет? Сроду не разберу...

— Подсолнухами, — сказал я, обдумывая, как ее успокоить.

— Ах, какая разница, чем пахнет.

Она коснулась пальцами моих губ, не позволяя говорить, и тихо запела:

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,

Спи, мой звоночек родной...

— Жалко, что у меня нет ребенка и никогда не будет. Для женщины материнство — половина счастья. Конечно, жить можно и без этой половины, но... — теперь я видел ее глаза. Они были близки, и на них падал лунный свет: тоскливую тень проливали они на припухшие глазницы.

Галка выпрямилась и вздохнула.

— Хочу жить, Саша, но не знаю как... Подвинься, я лягу...— она толкнула мне под голову руку и легла.— Вот как в жизни может не повезти... И никто не виноват, между прочим,— она поцеловала меня в щеку и прибавила: — Никто не виноват, сама...

— Не надо убиваться, Галка,— сказал я, обнимая ее.— Все еще будет хорошо...

— Брось ты, Саша. Ничего хорошего больше не будет.

— Будет.

— Как? — она приподняла голову.— Ты меня увезешь отсюда?

— Увезу, — ответил я твердо.

— А не станешь укорять? Я же ничего дать тебе не смогу...

— Мне ничего не надо...

— Горе ты мое, горе. Ничего тебе не надо... Зачем так распахиваться? — Галка прислонилась лицом к моему лицу.— Хочешь совершить благородный поступок? А ты не думаешь, что сейчас один несчастный, а может случиться — станет два...

Открылась дверь, и дядя Вася осветил нас фонарем.

— Лежишь, потаскуха? — спросил он хрипло и нехотя.— Хошь бы нас с матерью постеснялась.

— Лежу, папа... Ты не волнуйся,— Галка села на кровати и помотала рассыпавшимися волосами.

— Ни стыда у тебя, ни совести,— дядя Вася покачал головой.— Чего ты к человеку прилипла? Себе жизнь изломала, и другим маету наводишь...

— А вам бы все караулить меня...

— Ступай в избу... У тебя муж живой...

Галка встала и вышла во двор нервным шагом.

— Зачем вы так, дядя Вася? — спросил я, поднимаясь.

— А тебе я тоже скажу: где хотите вalandайтесь.— И вдруг закричал: — А дома моего не поганьте! Слышишь меня? А то до смерти на порог не пущу...

Я молча оделся и ушел.

Базик покосился в белом сумраке. Звездная сыпь испещрила глубокое небо. Светилась трава у заборов. Временами, точно тихий скрежет железа, раздавался далекий незлобный лай собаки.

Галки я нигде не нашел и до утра просидел на бревнах у бубновского дома.

«Надо во что бы то ни стало найти Галку. Надо ее спасти,— думал я горячо.— Я увезу ее куда-нибудь на люди, на хорошую работу. Мы еще будем счастливы. У нее будет ребенок, возьмем ребенка... Да неужели мне будет не под силу помочь человеку, которого я люблю...».

Оказалось, что в это время Галка искала меня.

Вот и вся история... Сейчас мы живем в Междуреченске... Да, чуть не забыл. В прошлом году встречал Марта в Москве на Шереметьевском аэродроме. Сомов вел под руку красивую длинноволосую блондинку...

КАЗАШКА

Игорь
Киселев

ВСТУПЛЕНИЕ

Погодите, присядьте, друзья,
Начинается песня моя.
Петь дано и синицам, и осам,
А ночами поет тишина.
Я прошу: не спешите с вопросом,
Что за песня, какая она.

Зарождалась в преградах, в препонах,
Пробивалась, как лучик во мгле...
Разве сможет ответить ребенок,
Кем он станет на этой земле?

Уходить не спешите, друзья —
Продолжается песня моя.

Я ее согреваю душою,
Не жалея забот и любви.
Вот когда она станет большою —
Задавайте вопросы свои.

Пусть в пророки она и не метит,
Но зато не предаст, не соврет.
Будут сильные крылья — ответит,
Будут слабые крылья — умрет.

Я прошу: обождите, друзья!
Не кончается песня моя.

Я уйду по веселой тропе с ней,
Буду счастлив, как шмель на лугу.
Мне без вас не сложить этой песни,
А без песни я жить не могу.

Ни птицы, ни облака в небе покатом,
Под вечер тягуч и медлителен зной.
Куда ты, казашка,
Под красным закатом,
Под небом зеленым,
Под желтой звездой?

Наш поезд набит стеллажами
усталых,
Распластанных в смятых своих
простынях,
И что ему крохотный твой
полустанок —
Он мчится, в пространстве себя
растеряв.

Попробуй припомнить по малой
примете
Плывущую степь и сияние дня —
И выплывет ярче гравюры на меди:
Казашка у насыпи держит коня.

А глаз у коня отливает агатом,
И дышит пустыня огнем и бедой.
Куда ты, казашка, под красным
закатом,

Под небом зеленым,
Под желтой звездой?

Ты к скачкам готовилась?
Или к свиданью?
И вряд ли проведает песня моя,
Кого ты там встретишь — за пылью,
за далью,

Стреножишь коня у какого ручья.
Какое мне дело, мелькнувшему мимо!
Ведь я не из тех, что судьбу отдают
За мягкую горечь кизячного дыма,
За сбитый из глины и солнца уют.

И мне ли гадать в этом пекле
проклятом,
В отчизне песка и полыни седой —
Куда ты там скачешь
Под красным закатом,
Под небом зеленым,
Под желтой звездой!..

МОЛИТВА ЛАНИ В АЛМА-АТИНСКОМ ЗООПАРКЕ

Отпусти меня, человек,
Отведи меня в лес, к поляне,
Где, в тумане купаясь, лани
Воду пьют из прозрачных рек.
Не разглядывай, отвернись,
Любоваться страданием стыдно,
Видишь — глаз мой миндалевидный
От смущения смотрит вниз.
К прутьям с трепетом подхожу.
Как прекрасен он, твой детеныш!
В глубине его глаз утонешь,
Нежно руки ему лижу.
Улыбается он — гляди!
Дети добры, и ланям видно...
Ты его сюда не води —
Любоваться страданием стыдно.
Ночью дождь прошел, и вода
Убежала, журча, по стокам.

Не учи его быть жестоким,
Перестань приводить сюда!
Отпусти меня в лес!
В плеск
Клейких листьев, в пыланье лета!
Ты ведь сам из травы, из леса,
Отпусти меня в лес. В лес!
Мой детеныш совсем ручной,
Твои жесткие руки лижет,
Без меня он не сможет выжить,
Отпусти его в лес со мной!
В камень вбитому «пятячку»,
Корму сытному в клетке серой
Волчи челюсти предпочту.
Дуло мертвое браконьера
Предпочту...
Из-за струн стальных
Мы ведь тоже все понимаем,
Ваши лица запоминаем,
Боль и гнев прозреваем в них.
Отпусти меня в лес! В кольцо
Быстрых рек, где трава и птицы.
Посмотри: на твое лицо
Тень от клетки моей ложится!..

Екатерина
Дубро

АПЕЛЬСИНОВОЕ СОЛНЦЕ

Рассказ

С вечера лепил густой снег. И ночью. Холодом дохнуло утро, нахохлившееся, ветреное, знобко покачивались голые бесприютные деревья, уже отчаясь дожидаться настоящей весны.

Валя любила ходить на работу утром вместе со всеми. Утреннее чувство рабочей солидарности было очень приятно и каждый раз по-новому волновало.

На телеграфе ей нравилось. Туда Валя попала случайно, просто искала после окончания школы работу. И не пожалела, интересно оказалось. Если были ночные телеграммы, она отправлялась разносить тотчас же, и сначала в организации. Если ночных не было или мало, часочек сидела с

Галкой, училась на телетайпе работать, а то передавала телефонограммы в воинскую часть. Солдатик-телефонист, ошалев от скуки, оживлялся, радуясь случаю поболтать с городской девушкой, и разводил канитель.

— Примите телефонограмму,— говорила Валя, стараясь придать своему слабенькому голосу деловитую твердость.— Сапрыкину Василию Алексеевичу.

— Кому, кому? Повторите по буквам.

— Са-пры-кину. Сергей, Анна...

— Ванна? Какая ванна?

— Я положу трубку!—сердилась Валя, и голос ее делался еще тоньше.

— Нет, нет! Пожалуйста, я записываю текст.

— «Срочно выезжай...»

— Хм, выезжай,— ворчал телефонист.— Будто армия им — прогулка. Девушка, а как вас зовут?

— Прекратите разговоры!

После нескольких таких попыток в воинскую часть звонить отозвалась, у Галки это получается лучше: раз-два, и готово.

— Слушай, что было сегодня!—смеется Галка.— Уморила одна бабка. Понимаешь, в три часа ночи пришла внука с днем рождения поздравлять! «Бабушка,— говорю,— вы бы хоть утра дождались». Но бабка строгая попалась. «Мое дело,— отвечает.— Принимай телеграмму!».

Иногда Валю развозит по адресам Леша, почтовый шофер, а делу него хватает: как сидит за баранку в шесть утра, чтобы к утреннему поезду успеть, и до вечера, по десять-двенадцать часов, такой безотказный. И ничего, не жалуется. «Наоборот, хорошо,— объясняет,— пить некогда». Леша маленький, щуплый, на таких девушки внимания не обращают, а так — парень хороший. Вчера, например, въехали они в проулок нового квартала, шоссеечка узкая, в грязных лужах, женщина впереди детскую коляску катит. Леша вырулил свой грузовик назад и вкруговую поехал, по бездорожью. «Почему?» — удивилась Валя. «А видела женщину с коляской? Ей пришлось бы за бордюр сходить, в грязь. Мне же проще».

Сегодня Леша нет. Можно, правда, на почтовом такси, но особо далеких адресов нет, да и не хочется с утра на машине.

Улицы почти безлюдны. Снова сыплет маленький снег и не тает на блестящей резине красных высоких сапожек. Холодно, неуютно под безжизненным белым небом. Каждая весна в какое-то время бывает похожа на осень, за которой долгая зима, так же как и осень в какое-то время похожа на весну.

В подъезде темно и тихо, только где-то наверху играют на рояле. Может быть, там, куда Валя несет телеграмму. Удивительную, необычную. А музыка все ближе, ближе, вот она. Такая красивая, нежная мелодия, что-то очень знакомое. Рядом клацает изнутри замок, и приходится, вздохнув, нажать на пуговку звонка. Мелодия обрывается. В такие моменты, перед дверью, возникает особое не-

понятное чувство, всегда немножко волнуешься, хотя и дел-то на полминуты: здравьте, пожалуйста и до свидания.

Дверь открыла девушка. Строгая такая, в красивых очках и при полном параде: черная юбка, белоснежная блузка с кружевными манжетами. Для роаяля оделась, что ли?

— Здравствуйте, вам телеграмма.

— Входите.

Тут же, в коридоре, она расписалась, и Валя с удовольствием смотрела на тонкий ее суровый профиль, на тонкие длинные пальцы, в которых хранилась прекрасная музыка. Пока Валя ставила число, время и подпись, девушка распечатала телеграмму. И сразу засветилась улыбкой.

— Спасибо вам, заходите почаще,— и, уже открывая дверь, вдруг радостно вспомнила.— А хотите, сыграю вам?

— Очень хочу,— улыбнулась и Валя.— А вы играйте, я буду слушать, пока спущусь. Пожалуйста, играйте то же самое.

— Чайковского? Хорошо,— кивнула девушка.

И Валя снова слушала поразительно чистые звуки нежной мелодии. Играли для нее! Сегодняшний день начался чудесно, а как славно приносить такие телеграммы. «Море шлет тебе привет, возлюбленной царя морского». Ни с чем не поздравляет, ничего не случилось—просто захотел человек, называющий себя морским царем, передать от моря привет своей любимой. И все, и ничего больше, даже подписи нет. Уж такой веселый человек. Валя осторожно опустила за собой дверь на тугой пружине. Музыка исчезла, но она осталась жить в доме.

Остальные телеграммы были так себе, обычные. Кого-то поздравляли с чем-нибудь, кто-то собирался приехать или уже уехал. Вздвигала по лестницам, привычно стучала карандашиком в двери. С одной пожилой тетечкой чуть плохо не стало, так и осела в прихожей на какой-то ящик.

— Что там? Прочитай, дочка.

А ничего страшного—некая Надя сообщала, что доехала благополучно. Женщина выпустила передник из прижатых к груди рук и вздохнула облегченно.

— Вот дура-то, не могу спокойно стука этого слышать, карандашика вашего, сразу беда чудится. Старые ведь, девочка, станомисся. Уходишь? А то попила бы чайку, а? Какое тепло в курточке этой?

А на телеграфе новые телеграммы накопились. Только бы не извещали о смерти. Но без этого не проходит и дня. До сих пор не по себе после вчерашнего. Валя пробиралась тогда по грязной улочке к маленькому дому под красной крышей и слышала оттуда неторопливый, методичный стук: что-то прибивали. И она подумала: как будто гроб делают. И женщина после взвыла. Худая, в фуфайке, в сбившемся сером платке. Валя уходила и долго еще слышала этот жуткий вой. И поняла, почему в войну самой тяжелой работой в тылу считалась должность почтальона: никто не хотел носить похоронки,

Впрочем, не всегда смерть воспринималась так трагично.

— Дима? — молодая красивая женщина в длинном атласном халате стукнула согнутым пальчиком в дверь ванной. — Отец умер, Дима.

Розовый Дима с мокрыми жидкими волосиками на лысине появляется в пижаме, пузечком вперед. Морщась досадливо, берет у жены телеграмму.

— А как же командировка? — огорченно спрашивает она.

— Я дверь не могу открыть, — вмешивается Валя.

Атласная женщина спешит, переливаясь, по узкому коридору и решительно заявляет:

— Я отобью, что ты улетишь в командировку.

Валю опохивает ароматом духов, английский замок защелкивается. Уф! Ну и людишки. Когда Вале однажды пришлось отпаивать одну адресатку, а в другой квартире даже «скорую» вызывать, — это было, конечно, хлопотно и горько, но это все же лучше, чем так, как здесь.

И еще одна телеграмма. Тоже отец умер. Небритый, заспанный мужчина расписался и равнодушно засунул телеграмму в карман.

— Я думал, мать, — сказал он. — Испугался.

— Что? — выглянула из комнаты маленькая женщина с недошитым детским платьицем.

— Да родитель умер.

— А-а, — и назад.

— Как вы можете так? — не стерпела Валя.

— Могу, — усмехнулся мужчина. — Он нас троих крохами бросил, от алиментов скрывался, а как выросли — сам на нас подал. У нас отца нету.

В некоторые квартиры приходится и по два раза приходить, а к некоторым так и не достучишься, тогда Валя оставляет телеграмму соседям. Если разумеется, она не срочная и не о смерти — эти только в руки.

Ступеньки, ступеньки... Двадцать телеграмм — минимум, но редкий, в основном по шестьдесят за смену, а в праздничные дни и за восемьдесят перевалит. Тут не замерзнешь, с этажа-то на этаж. И каждый адресат наводит на мысль о чем-нибудь. За полминуты тоже можно кое-что увидеть и понять. А там — новая дверь, новый человек. И принимают все по-разному. Некоторые предложат пройти в комнату и даже присесть отдохнуть, а иные и в коридор не впустят, через цепочку распишутся.

Тук-тук-тук, звонко, требовательно стучит карандаш. Сюда — о рождении ребенка. «Дочь родилась у бездельника Карла». Шутник, этот Карл!

— Но почему же имя не сообщил? — недоумевает новоиспеченный дед, все вчитываясь в узенькую полоску букв, сдвигает толстые очки на лоб под седым ежиком. — Ох, этот Карл, вечно все позабывает. И сколько килограммов? — дед закладывает пальцы за резинки подтяжек и начинает вышагивать по комнате.

А стройная, совсем еще не старая бабушка, смеется мокрыми глазами и обнимает, целует Вальку за добрую весть.

Телеграммы читать вообще-то не полагается, но Вале очень интересно, о чем так срочно сообщают люди друг другу, да и лучше знать, чтобы как-то подготовленной быть. Например, если плохое сообщение, она не торопится уйти: а вдруг что-нибудь понадобится? В горе ведь человек терзается.

Ветер утих, небо приподнялось, очистилось, остро пахнет холодным молодым снегом. И не думает таять. Даже крыши белые.

Валя проходит мимо рекламных щитов. На огромной афише — лицо кричащего матроса снегом залепило глаза, ветром порвало рот у девочки с плаката «Папы, мамы, бабушки, храните деньги в сберегательных кассах...» Щиты стоят на земле, и лет шести мальчик в шубке, привстав на цыпочки, усердно счищает снег варежкой с матросского лица, потом также старательно поправляет оторванную полоску рта на девочкином лице. Отходит на несколько шагов и, высунув язык, осматривает содеянное — доволен.

Валя улыбается и идет дальше. Она несет еще одну интересную телеграмму. Везет сегодня на чудиков! Какой-то женщине какой-то мужчина из Севастополя сообщает: «Ухожу в плаванье. Вернусь звездопадом». В сентябре, значит. В сентябре каждую ночь падают звезды.

Наверно, они родственники, эти два моряка: теперешний и утренний «царь морской». Им не хочется с любимыми говорить обычными словами, ведь заезженных слов так много, что они уже ничего не выражают. И разве только деловые телеграммы нужно слать близким, разве только по праздникам? Почему бы среди будней вдруг не отстучать по телеграфу свою срочную улыбку? Ведь письма идут так долго, а человеку и в будни нужны праздники. Антон Павлович Чехов послал жене телеграмму, когда в их саду зацвела камелия. Просто зацвела камелия.

Но севастопольскую телеграмму вручить некому. Придется оставить записку. Впрочем, такие телеграммы не считаются важными, и росписи получателей не обязательны — так решено деловыми людьми...

Еще один адрес, и можно идти обедать. Как раз по пути домой. На третий этаж взбирается уже не бегом. В квартире на всю громкость включен приемник, и Валя стучит долго-долго, прежде чем слышится какой-то грохот, еще грохот и шаги. Но не открывают. Что за новости? Карандаш нетерпеливо отстукивает очередную дробь. Наконец, хриплый мужской голос спрашивает:

— Кто?

— Вам телеграмма.

— Жены дома нету.

— Вам телеграмма, говорю!

— Жены дома нету.

— Да при чем тут жена? — кричит Валя. — Принимайте телеграмму!

— Я сплю, — следует невозмутимый ответ, и шаги тяжело удаляются.

Валя начинает барабанить кулаком. Из соседней двери высывается лысый мужчина.

— Девушка, не стучите напрасно. Во второй квартире его жена сидит, она всегда там или у подъезда на лавочке.

— Спасибо, — Валя пожимает плечами и спускается вниз. И в самом деле, жена там.

— Вы в десятой живете? Вам телеграмма. Муж ваш не открыл почему-то.

— А Петечка спит, Петечка спит, — с готовностью поясняет женщина. Оплывшая, в мятом платье, тусклые волосы хвостиком заколоты. — Где расписаться-то? Ага, спит Петечка.

Валя выходит и весело фыркает.

И вдруг вспоминает, что у Юры сегодня день рождения. У давнего хорошего знакомого. И надо бы зайти поздравить. Да, но что бы такое подарить?

У дома встретила соседская девочка-третьеклассница, застенчиво поздоровалась и, улынувшись, скользнула мимо. Долговязая, некрасивая, с большим ртом на смуглом остром личике. И врунья отчаянная, задира, все ребятишки во дворе ее не любят. Вот недавно нагло хвасталась, что у нее целых три болоньевых плаща: голубой, синий и красный. Не носит почему? Да не знает, какой выбрать. Ее и взрослые не любят, а дома частенько поколачивают. Но она неисправима. И гордо ходит в своем обшарпанном пальтишке, из которого давно выросла. Дома у нее, конечно, есть новое, просто она привыкла к старому. Но все знают, что ничего у нее дома нет, и не понимают ее упорного вранья, и озлобляются. Все знают, что в квартире у них хоть шаром покати, отец пьет, мать тоже. А девочка придумывает себе другую жизнь, сытую и независимую, и отчаянно отстаивает ее. Ей так легче, так она защищается. Ничего другого она пока еще не умеет. Но этого никто не хочет понимать.

Вчера подошла к Вале.

— Я сказала во дворе, что ты моя двоюродная сестра, ты не будешь ругаться?

Говорила она с вызовом, даже улыбалась кривенько, но в привычно сощуренных глазах затаилась робкая надежда.

— Не буду, — сказала Валя и поправила наглой врунишке воротник. — Гляди, шея посинела, простынешь.

И побоялась посмотреть в девочкины глаза. Побоялась увидеть то, что посторонним видеть не полагается.

Валя вышла из дому с огромным апельсином в руке. Дня три назад ее угостили, а она пожалела съесть, такой он был роскошный. Вот и пригодился. Самое то, Юра удивится, в магазине-то нету.

Она несла рыжий, как солнце, веселый апельсин, и он сочно и ярко выделялся на белом снегу.



Анатолий
Бельчик

МОИ ДРУЗЬЯ ЖИВУТ В НОГРАДЕ

С венгерской областью Ноград у Кузбасса давняя дружба. Каждый год из Кемерово в Шалготарьян — центр Ноградской области — и по обратному маршруту ездят в гости друг к другу шахтеры и пионеры, спортсмены и журналисты, архитекторы и хлеборобы...

Это записки — из путевого блокнота кемеровского журналиста, побывавшего в братском Шалготарьяне.

Старики

Перед самым отъездом в Венгрию я зашел в Москве в Академию общественных наук. Нужно было встретиться с товарищем Надем: он переводил материалы венгерских журналистов для наших газет. Но встретиться не удалось. Надь срочно выехал на родину.

В Венгрии Надей — как у нас Ивановых, Смирновых или Кузнецовых. И Сабо — то же, и Кишшей. «Надь» по-венгерски — большой, «кишш» — маленький, а «сабо» — кузнец. И откуда мне было знать, что это тот самый Надь, с которым мы когда-то вместе учились в одном университете? Об этом мне потом уже, когда я был на Балатоне, рассказал Бела Баньяс, журналист из Секешфехервара, с которым мы свиделись после пятнадцатилетней разлуки. Я, конечно, обрадовался этому сообщению: предстояла встреча с незнакомым Шалготарьяном, и хорошо будет, если там найдется хоть одна знакомая душа.

Но Шалготарьян встретил нас трауром. Пролетарский Ноград провожал в последний путь старого коммуниста Надея, отца моего товарища. Наш пере-

водчик Отто Моноштори огорченно сказал:

— Как ни жаль, но наступило такое время, когда наши ветераны все чаще хоронят своих боевых соратников. Годы неумолимы.

Хотелось лично выразить соболезнование семье старого Надея, но круговерть чрезвычайно насыщенной программы нашего пребывания в Венгрии так закружила, что встреча не состоялась. А вот слова об уходящих ветеранах вспоминались каждый раз, когда поздним вечером мы вместе с кинооператором Борисом Снежко возвращались в по-домашнему уютный и ультрасовременный отель «Каранч».

С балкона нашего номера хорошо просматривались Таначкезтаршашаг тер — площадь имени Советской республики — и возвышающаяся у железнодорожного вокзала бронзовая фигура рабочего с винтовкой, поднятой над головой. Это был памятник борцам Венгерской Советской Республики 1919 года скульптора Иштвана Тара. Предельно простой, он в то же время впечатлял своей мужественной решимостью и по-настоящему революционным содержанием.



Скульптурная композиция работы Йожефа Шомоди на площади Советской республики в Шалготарьяне

Вообще в Венгрии, где мы прожили месяц и видели не одну только Ноградскую область, нас радовало обязательное стремление народа выразить в мраморе, граните, бронзе признательность своим именитым сыновьям и инородным

друзьям. Памятники писателям, воинам, врачам, политическим деятелям, художникам, всем, кто в той или иной области прославил свою родину, любовно ставятся и столь же любовно оберегаются.

В Капошваре нас поразило монументальное кладбище советским солдатам и офицерам, сложившим голову за свободу и независимость Венгрии. Поразило не только своей ухоженностью и приязнью, но и тем, что это место стало в городе как бы священным: сюда приходят влюбленные и старики с колясками, в которых блаженно раздувают щеки их ничего еще не понимающие внучата. Это символично: у изголовья спящих вечным сном героев растут люди, счастьем которых они подарили свои жизни.

А в маленьком аккуратном поселке шахты «Каняш» в Нограде мы возложили алый букет на пригорюнившуюся во дворе шахтерского дома могилу узбекского паренька. В далеком сорок пятом году, когда над этим поселком воцарился мир, вышел наш советский солдат с венгерской девушкой к колодезю... Пуля недобитого фашиста попала в затылок. Похоронили советского солдата тут же, недалеко от места гибели. И маленькая Марика, девочка из этого двора, всегда украшала могилу цветами. Выросла уже Марика, дочь у нее пионерка. И теперь, когда по праздникам приходят шахтеры к могиле, когда приезжают советские друзья, дочь Марики стоит здесь в почетном карауле.

В Эгере мы несколько часов ходили по крепости, гарнизон которой в стародавние времена сотни дней отражал натиск многотысячной турецкой армии. Об этом, кстати, красочно рассказано в двухсерийном фильме «Звезды Эгера». Ходили вместе с маленькими мадьярами-пионерами. И удивлялись их неприкрытому и неиссякаемому интересу к событиям столь отдаленных лет. И радовались умению их учительницы-историка в своих объяснениях так непринужденно связывать свободолюбие их предков с сегодняшним целеустремленным строительством социализма.

Я отвлекся потому, что очень хоте-

лось бы видеть такую же заинтересованность к прошлому, которое всегда неотрывно от настоящего, и у нас. Скажем откровенно, не так уж богат памятниками наш Кузбасс. Почему бы, например, на одной из новых площадей Кемерово не поставить монумент в честь тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны так самозабвенно и жертвенно ковал победу над фашизмом, о которых «Правда» в 1945 году писала, что их заслуги перед социалистическим отечеством не забудет история? И чтобы в День Победы возлагались венки не только к вечному огню, горящему на Притомской набережной у памятника кузбассовцам, погибшим в боях за Родину, но и у вечного огня, прославляющего героев тыла. Или, к примеру, в шахтерском Прокопьевске могли воздать честь женщине-шахтерке, пронесшей на своих хрупких плечах тяжелую трудовую ношу своего ушедшего на фронт мужа.

Но вернемся к вечернему Шалготарьяну и бронзовой фигуре рабочего с винтовкой. Там, в сквере у памятника, каждый вечер мы слушали послерабочее веселье. Вполне возможно, что те юноши и девушки, которые приходили туда, смеялись и пели под гитару, а иногда и ссорились у подножия памятника, не обращали внимания на скульптуру Иштвана Тара. Но именно этот бронзовый рабочий, олицетворяющий собой героев революции, позволил нынешней молодежи так непринужденно веселиться, так любить и даже так ссориться.

Старый Надь уже не мог увидеть этого. Но, я представляю, сколько раз он удовлетворенно проходил по Таначкез-таршашаг тер и радовался: его многотрудная борьба принесла такие радостные плоды.

В этом мы убедились, когда в один из воскресных дней нам посчастливилось побывать на торжественном собра-

нии ветеранов революции. Боевые товарищи старого Нада, каждый из которых перешагнул семидесятилетний рубеж, собрались в зале облсовпрофа.

Говорят: старость — не радость. К сожалению, правильно говорят. Но в этот день так сказать было бы кощунственно. Я сидел в президиуме рядом с Йожефом Подхорником, управляющим угольным трестом, коммунистом двадцатых годов, подпольщиком, членом Центрального Комитета ВСРП (в Кузбассе его хорошо знают). Он с высоты окинул зал и вдруг, толкнув меня локтем, сказал:

— Разве же это старики? Посмотри, как у них глаза светятся. Как пятьдесят лет с себя сбросили. Каждому бы молодому такой свет в глазах!

Взволнованно обращался к ветеранам партии секретарь горкома Гашпар Силлаи. Борцы первой Советской республики, борцы коммунистического подполья партизаны отряда Шандора Ногради слушали обращенные к ним слова комсомольцев и офицеров, песни пионеров и получали подарки министерства обороны, сурово пели «Интернационал», а потом возлагали венки к памятнику, можно сказать, себе, и чувствовалось, как горды они, что их борьба, страдания и героизм увенчаны достойно.

Полсотни с лишним лет прошло с тех пор, как уходили они в атаку на войска интервентов от того самого дуба, который и сейчас раскинул по-прежнему молодую свою листву в Шалго — там был лес, а сейчас разросся поселок «Мир». Более полувека отделяет их от того времени, когда многие из них, попав в плен в сибирские лагеря первой мировой войны, вооружились там идеями Ленина, а затем возвратились на родину, чтобы под руководством Белы Куна и его соратников провозгласить в Венгрии Советскую власть. Правда, возвратились не все. У нас в Кузбассе помнят имена Матэ Залки, Ференца Коллара,

Франца Фишера, Макса Штибрека, Карла Оуна, Дьердя Мертты, Михаля Гедэ и других (всех ведь не назовешь) венгерских интернационалистов, которые отстаивали Советскую власть в Сибири в годы гражданской войны. Им за это вечная слава и добрая память.

У памятника мы обратили внимание на совершенно седого сухонького старика с медалью «За боевые заслуги» на груди. Чувствовалось, что ему тяжело встать в рядах сверстников, даже суковатая ореховая палка не помогала. Но как только раздалась торжественная мелодия оркестра, старик выпрямился, в его подсиненных годами глазах появился задорный живой блеск.

Нас познакомили.

— Сабо Иштван, — представился он. И вдруг по-русски спросил: — Какая сейчас Щегловка?

Оказалось, что в далекой Венгрии мы встретились с кемеровчанином. И наша боевая медаль украшает его грудь за то, что он завоевывал Советскую власть на Кузнецкой земле.

— Говорили мне ваши товарищи, — чувствуется, что русский язык он основательно подзабыл, а потому подбирает слова с трудом, медленно, — вроде нет уже Щегловки. Кемерововар теперь. (Вар — город по-венгерски). На улице с маленьким домиком жил. Нет теперь? Улицу не помню как звали, а санитарку из госпиталя, красивую девушку, помню. — И называет ее имя, а усталые глаза вдруг засветились лукавинкой...

Рассказывает он нам еще о своих ребятах, таких же, как он, молодых тогда венгерских солдатах, навсегда оставшихся в нашей щегловской земле, рассказывает о том, как после изгнания колчаковцев работал он в Кемерове.

Мы замечаем, что разговор этот для Сабо, да еще на русском языке, утомителен. Прощаемся. Желаем ему доброго здоровья. Уже по-венгерски он говорит Отто:



Новая улица в Шалготарьяне

— Передай: будет у сынков время, пусть заходят в гости. Палинки за Сибирь выпьем.

Семеро с шахты Густава

Каждого приезжего Шалготарьян поражает своей экстравагантностью. Очень модный город, в самом лучшем понятии этого определения. Действительно небольшой не только по нашим, но и по венгерским масштабам, он радует гостей своими яркими по архитектурному решению и впечатляющими по исполнению постройками из бетона, стекла и металла, будь то многоэтажный жилой дом, гимназия, Дворец культуры либо торговый центр. Особенно поражает новь сегодняшнего Шалготарьяна, когда узнаешь, что до освобождения

этот нынешний красавец город называли «черным Ноградом», краем шахтерских, по-нашему выражаясь, «нахаловск», нищим и ожесточенным нуждой.

И когда шахтеры, металлурги, машиностроители стали хозяевами города, мысль о стройке овладела ими. Соперничали мнениями: или на свободной площадке соорудить социалистический Шалготарьян, или возвести его, новый, доселе неизвестный и невиданный, но удобный и прекрасный, на месте старого труппного. Победило второе мнение. И вот теперь на месте закопшек на глазах вырастают наиудобнейшие строения, всей сутью своей противопоставляющие солнечное настоящее непросветному прошлому.

У Шалготарьяна — завидные планы, хотя уже и теперь он, во многом еще большая строительная площадка, завиден сам. И не зря в нем проходят конгрессы архитекторов Европы. С этими

планами ярко и вдохновенно нас знакомили и председатель облисполкома Янош Геци, и секретарь горкома партии Гашпар Силлаи.

Но раз у города есть будущее, то значит, еще осталось и прошлое? Да, осталось. С одной частью прошлого шалготарьянцы без печали расстанутся, а другую свято берегут для будущего.

Дьюла Брехо, работник угольного треста, везет нас по неширокому междуречью в Каранчайю, шахтерскую деревню, пригород Шалготарьяна. Улицы, перепаханные бульдозерами, оконтурены зелеными усадьбами.

— Здесь будут к концу года асфальт и ливневка, новое освещение и канализация, — поясняет Брехо.

Угольного цвета «Волга» выносит нас на невысокие залесенные горы, прорезанные глубокими логами, и останавливается у зацвеченной красными маками и зеленью трав поляны, в конце которой, в подгорье, как склеп — забетонирован вход в штольню.

Откровенно говоря, мы подумали было, что нас привезли еще в один шахтерский музей. Буквально накануне нам показывали такой музей в самом городе: одну из отработанных шахт шалготарьянцы очень удачно приспособили для этого. Войдя в гору, мы с помощью старого горняка дяди Шандора, коротающего пенсионный век в должности зрителя, познакомились с тем, как в давние времена проливали кровь и пот, рабски работая на капиталистов, ноградские углекопы, как сейчас трудятся горняки, чем была трудна и в то же время славна история шахтерского Нограда.

Кишш-Москва — маленькая Москва — так до сих пор называют шахтерский район Нограда. И называли еще тогда, в забываемом 1919-м, и потом — во времена Хорти, и после освобождения, когда именно в Нограде еще не завоевавшая в других районах по-

давляющего авторитета компартия получила на первых выборах без малого все голоса избирателей.

— В этих домах, мимо которых мы проезжаем, — говорил по пути Брехо, показывая на уютные, скрывающиеся в садах дворы, — каждый второй — коммунист.

Конечно, это — Кишш-Москва!

Здесь, как я говорил, один из самых крупных в Венгрии отрядов ветеранов первой Венгерской Советской Республики. Контрреволюция потопила республику в крови 1 августа 1919 года. А в Шалготарьяне Советская власть была подавлена после необычайно стойкого сопротивления только через девять дней. Но не сломлена. Уже через полгода слово большевистской пропаганды, яркое и зажигательное, поднимало шахтеров на забастовки, звало на демонстрации. Маленькая Москва стойко оправдывала свою революционную кличку.

(В скобках хотелось бы заметить: история Кузбасса еще более славна, а потому верится, что и у нас где-нибудь рядом с памятником героям труда будет столь же монументальный музей шахтерской славы).

Но вернемся к сегодняшней нашей осыпанной маками поляне.

— Вы первые из советских товарищей, которым мы показываем эту шахту, — говорит Брехо.

А Отто добавляет:

— Для него это незаживающая рана.

Когда-то здесь по утрам, совсем не чувствуя запаха росой окропленных трав, собирались полусонные каранчайские мужики и парни, чтобы идти под землю за тощим ноградским углем и столь же тощим заработком. А теперь вход в шахту замурован.

Нас останавливает мемориальная доска. Отто переводит: «Не забудем! 26 ноября — 12 декабря 1944 года. Здесь похоронены семеро парней: Ласко, Лу-

кач, Махиняк, Раяш, Тот и два неизвестных солдата».

А Дьюла молча смотрит, и лицо его, до этого одухотворенное гордым рассказом о горняцком Шалготарьяне, печально, и прижимистые мужские слезы скатываются к уголкам рта...

Тогда Советскую Армию ничто уже не могло остановить, она шла в Венгрию. Хортисты жестоко и ханжески обманывали народ, пополняли свою армию, а в горах Нограда уже основательно тревожил их и гитлеровцев партизанский отряд Шандора Ногради. Шахтеры, кто посмелее, уходили в отряд, другие старались скрыться от мобилизации. Но наступил день, когда уже никакие уловки тем, кто все еще оставался дома, не помогли. 26 ноября 280 горняков получили повестки. И тогда Махиняк (один из семи расстрелянных) увел их в шахту. Они спустились под землю, чтобы не вернуться на-гора. Спустились с оружием в руках, которое приготовил для них подпольный комитет компартии.

Гестаповцы блокировали все выходы из шахты и попытались войти в нее. Их встретили пули. Тогда они прекратили подачу воздуха.

Девять дней выходили женщины с узелками к оцеплению: вдруг да удастся передать своим немного еды. Девять дней Дьюла Брехо, шестнадцатилетний связной партийного комитета, по оставшимся, одному ему ведомым лазейкам, пробирался к оборонявшимся, к Махиняку, с которым он вместе работал, помогал чем мог. А на десятый и эти лазейки были перекрыты. Оставшиеся без воздуха шахтеры вынужденно поднялись на-гора...

Тут же, у входа в штольню, семеро из них были расстреляны, Брехо удалось скрыться в матринских лесах и пережить разгул остервеневших фашистов.

После освобождения товарищи похо-

ронили расстрелянных в шахте, а вход в нее замуровали.

В Венгрии маки растут так же обильно, как у нас синеглазые васильки. И отношение к ним там, где земля — угодия, такое же, как и у нас к василькам — сорняки! Но вот на этой поляне кроваво цветастые маки смотрелись по-иному: они склоняли свои кудрявые головы к шахте-могиле, к шахте-монументу. И безропотно, печально впитывали дорогие мужские слезы шахтера Дьюлы Брехо.

Возвращаясь, мы остановились в Каранчайе. В небольшом непритязательном местном клубе нам показали картину, воссоздающую события осени 44-го года. Писал ее не профессионал, но столько было в ней идущего от сердца, может быть, даже лично пережитого, что мы как будто сами пережили трагическое, бережно сохраняемое прошлое.

В день, когда исполнилось четверть века освобождения области от фашизма, шалготарьянцы на горе, главенствующей над городом, установили огромную скульптуру партизана. Создал ее в своей мастерской именитый венгерских художник Иштван Сабо. Не тот Сабо, с которым вы познакомились выше, — другой. Ведь в Венгрии, повторяю, Сабо столько же, сколько у нас Кузнецовых...

В тот день, открывая памятник, вспоминал своих боевых друзей шахтер и партизан Дьюла Брехо.

Руки мастера

Мы ехали в кооператив имени Общества венгеро-советской дружбы в Эрхалом. Дорога, попетляв в горах, опустила нас на темную, чуть скучноватую, но дородно цветущую равнину. Прямо к аккуратной, ухоженной деревеньке. У околицы, контрастируя со всем ее

лубочным видом, пригорюнился порядком постаревший графский дом.

Во многих венгерских селах сохранились бывшие графские усадьбы. Некогда в них спесивые и разгульные дворяне прожигали форинты, выжатые из безземельных окрестных крестьян. Теперь те дома, что пороскошнее, отданы, как у нас говорится, под «очаги культуры», что поскромнее — заняты госхозовскими и кооперативными конторами, а совсем уж одряхлевшие пустуют, лишь своим замшелыми стенами и незрячими глазницами окон напоминая о давно ушедших временах.

Дом, к которому мы подъехали, заинтересовал нас необычным двором, заставленным скульптурами, заваленным пнями, сказочно растопырившими мертвые иссушенные корни. А посреди двора белела обросшая лесами мощная гипсовая фигура партизана.

Мы уже знали, что Шалготарьян готовится ознаменовать праздник освобождения открытием памятника народным мстителям, знали, что на конкурсе лучшим признан проект известного скульптора Иштвана Сабо, но совсем не предполагали, что на пути в Эрхалом повстречаем этот старый графский дом, который и окажется мастерской ваятеля. И сейчас, узнав об этом, не постеснялись напроситься в гости.

Скульптора мы увидели на лесах, колдующим у своего детища. Когда Отто Моноштори прокричал ему, что же мы, нежданные и незваные, он отогнал стек и начал грузно спускаться вниз. А пока спускался, Отто попросил нас:

— Он только что приехал из Советского Союза, хорошо помнит ваше гостеприимство, но сейчас очень занят. Умудритесь отказаться, если он пригласит вас на весь день к себе: программа есть программа!

А Пишта-бачи (дядя Иштван), тяжело

припадая на протез — последствия автотрагедии — в поношенной вельветовой блузе, добродушно опустив седые усы, уже подходил к нам, протягивая руку. Здороваясь, мы заметили, что рука его — жесткая, изрубцованная мозолями, как у хлебороба.

Потом уже, когда мы познакомились с работами Сабо, расставленными в симпатичном беспорядке в мрачных комнатах графского дома рядом со столярным верстаком и токарным станочком, среди незавершенных холстов и начатых деревянных поделок, когда уже беседовали за бутылкой то-ка в соседнем опрятном домике, где живет мастер, мы узнали, почему у этого утонченного интеллигента руки пахаря.

Сабо не рисуется, живя в деревне. С нею его связывает буквально все, с самого дня рождения. Любый народ любит своих талантливых сынов. И для венгров они — предмет особой национальной гордости. Именно поэтому не затерялось в будничном крестьянстве исключительное дарование деревенского паренька Иштвана Сабо, после того, как он полвека тому назад удивил односельчан резьбой по дереву. Под заботливым доглядом и при надежной поддержке народа расцветал талант скульптора. Ушли годы, износилось здоровье, но окрепло мастерство, и руки надежно держат резец.

Нет нужды теоретизировать по поводу проблемы народности в искусстве, пусть это делают литературоведы. Творчество истинного художника, живущего чаяниями народа, связанного с ним родством, постоянным общением, выражающим его думы и надежды в своих произведениях, всегда получит благодарный отклик людей и их признание.

Известность Сабо давно уже переросла национальные рамки. Его работы занимают почетное место в музеях многих стран Европы и Америки.



Скульптор Иштван Сабо-старший в своей мастерской

Юношеская любовь к дереву сохранилась до старости, хотя сейчас мастер работает со многими материалами. Настоящую мировую славу ему создала именно резба по дереву.

Наша страна славна такими мастерами. Вспомните Коненкова, Эрзю. Их скульптуры поэтичны и вдохновенны. Этим художникам многим родствен и Иштван Сабо.

Надо обладать недюжинной фантазией, чтобы в обыкновенном пне увидеть то таинственное, что затем под твоей рукой превратится в произведение искусства. Поражает серия работ скульптора о крестьянах. Он показывает их в труде, всегда экспрессивно. Шахтерская серия особо популярна в Ноградской области. Большинство ее скульптур посвящено тяжелой шахтерской доле в

прошлом. Женщину-мать художник боготворит. Десятки работ посвящены ей. И каждая — гимн ее мудрости и мужеству, доброте и душевному богатству.

В мастерской особенно ясно видно, как шлифовался, созревая, талант художника, чеканилась манера исполнения. В молодости была отдана дань, я бы не сказал, абстракции, но чему-то определенно напоминающему это. И все же даже в этих работах буйствует воображение, сквозь скорлупу формализма проклевываются ростки реалистического восприятия мира. Постепенно родился свой стиль, в котором манера исполнения так органически подчинена сущности изображаемого, так ярко и доходчиво выражена, что позднее в Будапеште мы, увидев в вестибюле Высшей партийной школы стоящие в ряд скульптуры, с первого взгляда определили, что они принадлежат только ему.

Мы спросили:

— Пишта-бача, как Вас встречали в Москве?

Он показал нам книгу, подаренную ему скульптором Томским, различные сувениры, приглашение, в котором венгерский посол «имеет честь пригласить товарища Сабо-старшего на прием в честь открытия его персональной выставки в Москве».

Мы поинтересовались:

— Почему Сабо-старшего?

И узнали, что в Венгрии есть два Иштвана Сабо, два известных скульптора, два лауреата премии Кошута, и что они — отец и сын. Правда, младший по манере очень не похож на старшего, но его рука унаследовала от отцовской десницы столь же неудержимую страсть к прекрасному. Это ведь, наверное, очень хорошо, когда человек оставляет на земле не только творения своих рук, но и как достойного продолжателя любимого дела — сына.

А беседа наша все течет и течет. И на столе уже появляется не бутылка, а

кувшин вина из собственного погреба. Идет второй час нашего неожиданного гостевания у Пишты-бачи. Наши провожатые волнуются: хорошо продуманная программа трещит по швам.

Мы прощаемся. Старик о чем-то спросил венгерских товарищей. Выслушав ответ, что-то буркнул и развел руками.

Машина отъехала, а старый мастер, опершись на самую обыкновенную палку, узловатую, как будто только что поднятую на лесной тропинке, прищурившись, смотрел нам вслед.

— О чем вы говорили на прощание? — полюбопытствовали мы.

— Он сказал, что в Шалготарьяне не умеют составлять программы: кто же на два часа приезжает в гости? — засмеялся Отто.

Эрхаломские мадонны

Наверное, в мире не сыщешь такого места, где бы неласково встречали добрых гостей. Тех, кто приезжает к нам с открытым сердцем, мы встречаем по-русски раздольно и горячо. Пришлось мне сопровождать венгерских коллег по Кузбассу. Много интересного увидели они, но после того, как побывали в горношорской тайге за Междуреченском, один из них, Ласло Шомодвари, восторженно сказал:

— Слышал раньше, что Сибирь — холодный край, теперь не верю. Даже Африка может позавидовать такому теплу!

Он имел в виду прием, который оказали ему и его товарищам наши суровые, в их представлении, молчаливые сибиряки.

Вспомнил я о Ласло не зря. Ведь это именно он вместе с Отто показывал нам Ноградскую область. Живет он там уже давно. И тогда нам казалось, что

он, наверное, и родился там: до того пристрастно, с лучшей, конечно, стороны, старался он «преподнести товар лицом», не смазывая недостатков (где же их нет?), показать нам все наименее приятнейшее в «нашем палочком крае», как он говорил.

И вот теперь в Москве, перед самым прощанием, наш переводчик Владлен Пунтус, неплохой знаток венгерского языка, поинтересовался у Ласло:

— Вы ведь не шалготарьянец?

— Я родился в Мишкольце.

И тогда мы узнали, что, оказывается, ноеградцы многим отличаются от остальных венгров. Их все там узнают поговору, как, скажем, коренных чалдонов у нас.

Их называют палочками.

Многие сотни лет хранят они свое наречие, стародавние обычаи. Женщины Казара, Буяка, Римоца, Вижлаша, Галагуты и многих других деревень до сих пор по праздникам надевают такие красочные наряды, что у мужчин дух захватывает.

Эрхалом, куда мы ехали, тоже была одной из тех деревень, где палочские обычаи хранят тщательно и любовно. Встретила она нас аккуратными рядами добротных, не будь они каменными, можно было бы сказать, крестьянских пятистенников, обвитых виноградом, щеголяющих цветастыми дворами, уютными бистро, где по вечерам мужчины читают газеты, тихо и мирно пьют вино и сетуют на своих жен, новым Домом культуры, в котором хозяйствует молодежь, небольшой церковью — приютом старушек, также как и везде обожающих темные наряды, и очаровательными девушками, стайкой собравшимися на центральной улице, надевшими сногсшибательные юбки и головные уборы.

У конторы кооператива одна из них — потом мы узнали, что ее зовут Эржи́ка — вручила нам цветы. Мы скромно

пробормотали: «Спасибо», а председатель, черноволосый и голубоглазый крепыш, улыбаясь, сказал:

— А где же поцелуй?

Откуда же нам, сибирякам, у которых нет такого обычая, было знать, что за цветы надо было платить поцелуем, мы же не палочки?

Шутка шуткой, но это действительно очень приятное зрелище, когда по торжественным дням люди вспоминают добрую старину, одеваются, как одевались некогда их прабабушки. Это же не просто экзотика, а уважение к народной традиции, сохранение хороших обычаев, это, если хотите, воспитание. И жаль, что у нас, например, в Сибири, такие праздничные карнавалы не приживаются. Разве плохо было бы в такой летний праздник, как День шахтера, показать русский характер, русскую удаль?

Но вернемся в Эрхалом. Председатель кооператива Иштван Бала, депутат Национального собрания ВНР, рассказал нам, что встречавшие нас девушки умеют не только красиво одеваться, но и замечательно работать.

Венгрия — небольшая страна. Солидная часть ее территории занята промышленными предприятиями, городами, санаториями и т. д. Поэтому земля там ценится очень высоко и используется более чем на сто процентов. Бережно используется. А потому и отдачу дает большую. Недаром сами венгры, гордясь достижениями в индустрии, признают прежде данное название их стране — «огород Европы». Но если раньше это название было синонимом экономической отсталости, то теперь у него совсем другой смысл. Страна стала высококультурным производителем дефицитной сельскохозяйственной продукции, отменное качество которой авторитетно и в Западной Европе, и у нас.

Но, если уж говорить откровенно, то Ноеград хорошей землей обделен. Го-

ристая местность, труднообрабатываемая. Почва страдает от эрозии. Тем отраднее и показательнее успехи, которых добились палочки крестьяне.

Мы осмотрели кооператив. Две с половиной тысячи хольдов земли — это примерно полторы тысячи гектаров. 290 человек обрабатывают их. Главная продукция кооператива — свинина. Местные животноводы получают от каждой свиноматки белой венгерской породы по 21 поросенку. Растят их полгода — до ста килограммов — и продают. Эрхаломская мясная свинина славится во Франции и Италии. Жена председателя Катрин угощала нас, и мы подтверждаем: не зря славится.

А земля дает корма. По 39 центнеров ячменя с гектара, по 49 — пшеницы. Нашей — «безостой». Как раз в это же время в Венгрии гостил ее создатель академик Лукьяненко. Ему был вручен высший орден страны за неоценимую помощь в развитии национального сельского хозяйства.

И еще: каждый из 250 хольдов приносит по 17—18 тонн сортового картофеля. Мы были там в июне, в то время картофелеводы собирались сжигать сочную зеленую ботву: уже недалеко было время уборки, надо было уничтожить вредного жучка, который как раз поселялся на плантации, да и к тому же зола — неплохое удобрение.

Рядом — поле сахарной свеклы. Обычно получают ее более 500 центнеров с гектара. Свеклу на сахарные заводы, ботву — на корм скоту.

Недалеко — еще одно поле, с клубникой. Ее столько, сколько у нас весной бывает колбы. Но, как нам объяснили, это уже остатки урожая, вчера сюда приходили воспитанники детского сада, полакомиться, а завтра выйдут трактора — перепаживать поле, готовить под другую культуру. Это выгоднее, чем убирать всю клубнику до ягодки.

Хозяйство имеет 14 тракторов, три комбайна. Этого вполне достаточно.

А заработок крестьян? 104 форинта на трудодень. Очень высокий заработок, не хуже шахтерского. Доход кооператива? 22 миллиона форинтов. В общем, живут крестьяне хорошо.

Совсем недавно это хозяйство отличалось отсталостью. Только старики хранили традиции Эрхалома. Молодые перебирались в город. Теперь город уже не манит молодежь. Ведь ряды новых домов в деревне, где любят, где растут дети Эрхаломцы, не зря появились за последние годы. И древние палочки наряды снова заиграли своими экзотическими красками на деревенских де-вушках.

На прощанье Эржика и ее подруги снова подарили нам по букету роз. И хотя нет у нас такого обычая в Сибири, мы все-таки ответили на этот подарок поцелуями — в щечки. А букеты так до конца нашего пребывания в Шалготарьяне, когда мы по вечерам возвращались в гостиницу, напоминали нам об Эрхаломе.

* * *

Я рассказал лишь небольшую толику того, что мы увидели в Ноградской области. В памяти — сердечные встречи с шалготарьянскими стеклодувами. Вспоминаются виноградари и хмелеводы Сирака, палоташские животноводы. Впечатлительный день мы провели у шахтеров «Каняша». Поистине колоритным зрелищем был праздник мира в Вижлаше...

Встречи с шалготарьянскими рабочими, ноградскими крестьянами, руководителями областных организаций убедили нас в том, что Кузбасс и Ноград связывает хорошая братская дружба, основанная на единстве цели, общности интересов и мировоззрения.

Мы можем уверенно говорить: в Нограде живут наши настоящие друзья!

Зоя Естамонова

ДВЕ ВЫСТАВКИ

Шел разговор о городской архитектуре. Из окна были видны геометрические углы нового квартала. Мой собеседник сказал: «Я бы хотел увидеть там что-то круглое. Понимаешь? Кру-гло-е!». Я поняла его сразу. Вспомнилось, как школьный учитель рисования внушал: «В природе нет линий, запомните — в природе есть объемы, округлые формы...» Мы в те дни были, конечно, заодно с поэтом:

«...Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал...»

Детство упрямо рисует углы, а живет оно, наверное, всегда внутри чудесного овала, если так можно назвать то непрерывное ощущение природы, которое испытывает в полной мере только ребенок. У ребенка есть завидная привилегия становиться по щучь-

ему велению зайцем, стрекозой, травинкой, облаком. Взрослые об этом забывают, бранят маленького Колумба за испачканные грязью колени, за настырную любовь к лужам.

Не грязь и не лужи видят детские глаза, что-то совсем другое, недоступное нам. Грустно признаться, но для взрослого, как радужная пыльца с бабочкиного крыла, стирается таинственная оболочка вещей. Будто зрение тускнеет. Такой потере зрения врач не в силах помочь. Идешь к художникам — у них глаза детей. Научите смотреть и удивляться!

Понятно почему на выставке пейзажиста Николая Бачинина в книгу отзвучивало столько добрых слов. Благодарили горожане. За обретенную радость встречи с природой.

И снова выставка пейзажа. Виктор Зевакин. На этот раз единодушия меньше. Спорят. Одни завидуют художнику: как он смог сохранить такие чувства? Другие сердятся: почему, мол, восход у живописца полыхает так, будто он сложил на одном холсте, по меньшей мере, пять восходов?

Совпало, что выставки кемеровских пейзажистов, таких по существу разных, последовали одна за другой, давая пищу раздумьям и спорам.

НИКОЛАЙ БАЧИНИН

У Бачинина любимым образ тайги — круглоголовые, скульптурно вылепленные кроны кедров, благородные купола живого зеленого храма. Видишь в холстах плавные ритмы леса, бесконечную протяженность его, единый организм природы.

Бачинин смотрит на тайгу, объединяя

ее взглядом, чаще смотрит издали, чтобы почувствовать цельность ландшафта, совокупность цветовой гаммы. Из точек зрения выбирает порой ту, что открывает землю с высоты птичьего полета. Так написаны большие полотна «Над Томью», «В полете». Это век скоростных темпов диктует острые ощу-



Н. Бачинин. «ПОЛДЕНЬ НА РЕКЕ ТАЙДОН»

щения «пространства — времени», призывает к масштабным обобщениям и философским раздумьям. И все-таки художник начинается не по уму, а по сердцу.

Николай Бачинин в свои пятьдесят лет сохранил жадное любопытство к жизни. Его мальчишеские порывы к новизне тем не менее сочетаются со свойством зрелого возраста — стремлением к равновесию. Это сказывается и в тщательном отборе натуры, и в устойчивости живописного почерка. Влюбленный в сибирскую природу, он всегда рассказывает с своих впечатлений пылко, как поэт, но наедине с предметом своих восторгов он строг, придирчиво исследует и «разбирает» избранный мотив, совершенствуя глаз от этюда к этюду.

«Если бы я был абстракционистом, — заявляет вдруг Бачинин, — я бы изобразил весну голубыми искрами, зелеными брызгами».

«Ого!» — испугается будущего абстрактного полотна доверчивый собеседник.

А Николай Иванович еще начнет рассуждать о «чистых формальных задачах», да так, будто для него не существует ничего, кроме них. Между тем, нельзя быть формалистом в меньшей степени, чем Бачинин. Какие бы живописные опыты он ни затевал, он неизменно требователен к себе, к результатам работы, а главное — в нем всегда сильны гражданские идеалы. Пейзаж существует для него в ощущении прекрасного и как вечный объект беспокойства за судьбу природы.

Из года в год неизбежно меняется ландшафт. Падают на лесосеках деревья, на восстановление которых нужны десятилетия. Я читала письмо старого лесоруба, который считал свою профессию одной из самых грустных на свете: «Спилишь огромного кедра (он так и писал о кедре, как о человеке) и чувствуешь что-то живое, могучее»...

Редет тайга, но те ее уголки, которые неотвратимо изменились, вдруг остаются живыми на картинах. Падает кедр — художник его поднимает. Мы бла-

годарны ему, и еще более благодарны будут потомки за уцелевшие портреты нашей земли.

...На широкой полоске земли, отделяющей Томь от реки Тайдон,— деревня Симоновка. Несколько домиков вместе, один поодаль. В джунглях крапивы, под одиноким кедром стоит этот дом-избушка на курьих ножках, но с высокой радиоантенной. Какая там бывает тишина! Ведь птицы, ветер в ушах, звон мошкары — все это не шум, а музыка. Днем пахнут на припеке лопухи и ромашки. Ночью, когда упадет роса, бродит по соседству спутанный белый конь.

Николай Иванович встает на заре. Кроме этюдника, берет с собой огромный зонт — защиту от солнца или дождя. Тропинкой, пересекающей сначала высокое разнотравье, а затем окруженной тополями, идет к Тайдону. Пишет часами. Тщательно изучает полюбившийся мотив, прощупывает форму, ищет пластическое решение цветовому богатству. Некоторые из работ, повторяющих мотив в разных состояниях, мы увидим потом на выставке.

«МАЛАЯ ОСИНОВКА...». Тихая вода. Тонкая кромка песчаной косы мерцает. Светятся солнечные ореолы кедровых крон.

«ДОРОГА К ТАЙДОНУ» — упоение зеленой.

«ПОЛДЕНЬ НА РЕКЕ ТАЙДОН»... А это глубокая синь дальней таежной чащи, и на первом плане — близкие и пушистые зонтики цветов, легкие усики травы купаются в свете.

«УСТЬ-ТАЙДОН»... Красавец. Синеголубой, с загорелыми бровями сплава, с прибрежными деревьями, пышными, как облака.

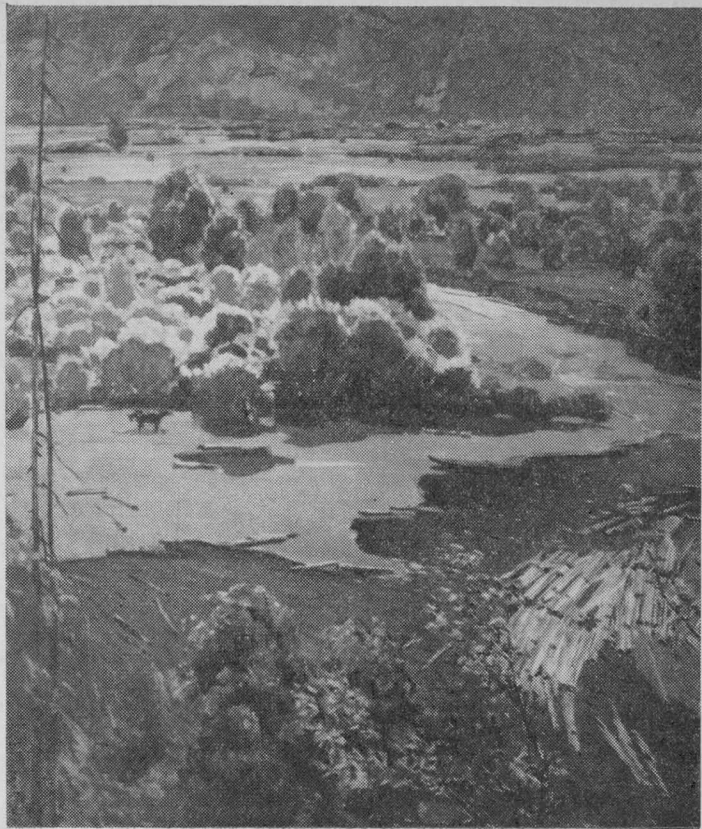
География выставки выходит за рамки Кузбасса, но, к сожалению, большие полотна — результаты творческих поездок в Саяны и Забайкалье — давно ушли из мастерской художника, и зрители увидеть их на юбилейной выстав-

ке Бачинина не смогли. Но многим из них, правда, остался этюдный материал. Рабочие «нашлепки» не всегда удачны. Чаще живописцы не выносят их из мастерской. Мне приходилось слышать упреки в адрес Бачинина: не стоило выставлять напоказ черновую работу. Но с этим согласиться трудно. Во-первых, некоторые этюды сами по себе интересны, во-вторых, они позволяют зрителю оценить трудный путь художника к большому полотну, увидеть, как разобщенные для нашего глаза картины природы объединяет живописец в свои «букеты» цветовых созвучий, как собирает из них характер типичного сибирского ландшафта.

Если же говорить о характере живописи Бачинина в целом, я бы сказала, что ее определяет прежде всего доброта взгляда. Ею, может быть, объясняется отсутствие драматического момента в сюжетах и в живописной трактовке образов. В картинах Бачинина преобладает гармоническое начало. Равно внимание художника к величавым кедром и к жизни старой городской улицы. А если Бачинин предпочитает какое-то состояние природы, то чаще всего это светлые мотивы: весна в самом нежном расцвете, осень пушкинская, золотая, та, что вызывает спокойное раздумье, ясное и бодрое настроение. Может быть, именно эта цельность мировоззрения — секрет успеха, может, она и помогает художнику максимально передать зрителю радость живописных открытий. Коллеги-художники высказывают меньше эмоций, но внимательно и подолгу стоят у новых бачининских работ. Оценивают строже, но и достоинства замечают тоньше.

Как-то речь зашла о цветовых особенностях весенней зелени. Наши живописцы вдруг заявили едва ли не в один голос: «Зеленуху писать не любим».

Потом, правда, прибавили: «А, может, не умеем? Вот Бачинин открыл свою



весну, свою зелень». Подходим к полотну. Что за причуда? Ожидаешь сочной зелени, а вокруг разлита желтизна. Еще раз посмотришь и вдруг обрадуешься своему удивлению. Вот та самая весна, которую забыл, видел ее в детстве, с цыплячьей слабостью первой травки, с особенной желтоватой теплотой луга. И в памяти что-то оттаивает... Свое, но в чем-то очень близкое к мироощущению художника...

Пальцы разгребают душистый чернозем, хватают розового червяка, бросают в консервную банку. Еще одного. Еще. Вдруг что-то мягко стрельнуло в ладонь. Освобожденная от комочков поч-

вы, выпрямила спину бледная новорожденная травинка... Тайна младенческого начала... Ксладовство простых строк Алексея Толстого:

«...И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий...»

«А, может, кто из горожан не видел такой весны? Пусть увидит. Для них и писал», — сказал мне Бачинин накануне своей юбилейной выставки. Радостно было потом читать в книге отзывов:

«Мы — городские жители — очень благодарны Вам за Ваше искусство, труд, несущие всем нам радость и при-

ятные мгновения от встречи с нашей кузбасской природой! Долой Сочи, да здравствует Тайдон!».

Выставка Бачинина открыла лицо зрелого мастера, неподвластного скоротечным живописным модам, художника мыслящего и преданного натуре. «На-

тура для меня неисчерпаема,— говорит он,— и всегда дарит какую-нибудь неожиданность... Я долго ищу мотив. Зевакин схватывает его легче. Мы с ним разные. Он фантазер. Я беру цветочные звучания в натуре, Зевакин их сочиняет...».

ВИКТОР ЗЕВАКИН

«В ваших картинах не чувствуется обмывности, картины часто не отражают реальности...».

«...Не в силах оторваться от ваших произведений. Живопись очень сложна, красива, чарующая...».

* * *

Пейзажи Зевакина живут как отблески его собственных волнений.

Именно за это субъективное начало достается художнику от некоторых посетителей выставки. Воинствующие пишут в книгу отзывов протесты, действуя согласно принципу: «Мне не нравится, значит не должно существовать». Может быть, поэтому и художник иногда бывает настроен ершисто. В названиях некоторых картин Виктор Зевакин явно подчеркивает право на художественный вымысел, на свою собственную песню. Вот одна из них — «Мой мир». Название полемично, ведь композиция будничная: окно, сквозь стекло видны первый снег, дерево, две женские фигуры. Но все это касается сюжета, а дело тут не в нем, а в цветовом решении. Цвет полотна дает почувствовать пульс восторженного человека. Откуда этот взрыв сказочных красок? Вот уж поистине фантазия художника любит заселять самые неброские уголки... Последние листья осени на деревьях в соседстве со снегом вспыхивают так ярко, в щедрую игру их оттенков вовлечены такие звонкие

краски неба, так свежо сияет на подоконнике кисть рябины, что ликующий цвет становится главным действующим лицом картины, он активен, заразителен, весел, не позволяет пройти мимо. Можете радоваться цвету или возмущаться его самостоятельностью, он делает свое дело: неожиданность цветочных открытий будит и очищает наше усталое «взрослое» зрение, вторгается в область эмоций, воздействуя так же непосредственно, как музыка.

Видно, недаром композитор Скрябин, почувствовавший как никто иной родство цвета и звука, в 1923 году заказал живописцу Аристарху Лентулову цветочную партитуру к музыке своего «Прометея».

В книге отзывов на выставку Виктора Зевакина часто встречаешь слова «поющие краски» и «музыка цвета». Действительно, большинство пейзажей — волны переливающихся друг в друга оттенков. Алый... Золотисто-красный... Спелый оранжевый... Пронзительно лимонный... Малахитовый... Сиренево-голубой и розово-сиреневый... Пепельно-синий... Серебристо-зеленый...

Это не набор цветочных пятен, а пережитые эмоции, живые ритмы. Краски дышат, мерцают — дар колорита, лирика.

Виктор Зевакин пишет лишь те мотивы, на которые живо откликается его темперамент. Пишет большинство холстов широко, быстро, без подготовитель-

ных этюдов, и они сохраняют, благодаря этому, свежесть первого впечатления, недосказанность, которая как бы призывает зрителя к сотворчеству. Тонкое чутье цвета граничит у Зевакина с резкой нетерпимостью к дежурным краскам. «Начни писать ими,— говорит он,— и все художники станут похожими друг на друга». Стоит ему заметить, что синька в нескольких работах повторяется в том же качестве, он выбросит ее из палитры. Увидит, что цвет лишен одухотворенности, уйдет от цвета в темную гамму, тренируя глаз, привыкший к декоративности, в этюдах, решающих задачи тона и света. Будет добиваться, чтобы краски светились, как драгоценности. Беспощадно оставляет Зевакин полотно, если не чувствует в нем единства в настроении. Он убежден, что живопись должна быть откровением. Ради этого не боится бросить вызов привычному цвету, встать на путь создания своей природы. Проще говоря, он пишет не столько природу как таковую, сколько наше восприятие ее состояний. Картины Зевакина, как правило, жизнерадостны. По теме это могут быть почти любые уголки природы в разные моменты их жизни... Смеющиеся краски весны, полные неги и славящие солнце летние пейзажи, осень с деревьями, похожими на перья жар-птиц, крепкие и румяные на закате деревенские дома, торжественные силуэты русских церквей. Но рядом с этими полотнами, написанными обычно открытым цветом, есть и другие. Они составляют вторую половину выставки.

...Сонный пасмурный уголок села с седыми крышами домов... Зимний пейзаж с плотным серым горизонтом, набухшим снеговыми тучами. Грустная роща и свинцовая вода... Шепот северного ветра, летящего над последним оконцем застывающей реки... Или, наконец, тот простой и полный драматизма пейзаж, о котором кто-то написал:

«...вспомнилась мне деревня, в которой прошло детство. Вот именно такое небо бывает в дождливый день, такие облака, сочная травка. Несколько раз возвращалась к данной картине и с удовольствием смотрела...»

Любители живописи, следящие за творчеством Зевакина, говорят подчас, что эти пейзажи написаны другой рукой. Ведь прошлая выставка убеждала нас в том, что Зевакин — художник, одержимый цветом, а в этих холстах царит сдержанность красочной гаммы. Перед нами мечтательность, целомудренность чувств. Но только внешне кажется, что художник изменяет себе. Посмотрим на это явление поближе.

Характерно, что почти все эти работы привезены из одной поездки на академическую дачу. Автор говорит, что творческая командировка на этот раз ставила особую цель — отойти на время от излюбленных декоративных мотивов, проверить глаз в тонкой лирике среднерусского пейзажа: «Я отошел от нарядности, чтобы опять вернуться к ней...».

Что ж, это в характере Зевакина, вечно занятого экспериментами. Между тем, в обращении Зевакина к сдержанной гамме сказывается еще одно его пристрастие, о котором мы упоминали выше, рассматривая картину «Мой мир» — привычка уходить от явной красоты и стремление отыскать краску забытую, освободить ее, эту Золушку, одетую в будничное платье. Может, поэтому он пишет чаще не «зеленуху», а самую раннюю весну, не золотую осень, а осень позднюю, скудные краски которой разжигают воображение.

«ОТЧИЙ ДОМ» — часть деревенской улицы, с облетающими тополями, жухлой от заморозков травой. Единственное насыщенное цветом пятно — свет в окне. Но чем больше всматриваешься в картину, тем больше поэзии видишь в нежном перламутровом колорите.



В. Зевакин. «ОТТЕПЕЛЬ»

В пейзаже «После дождя» нам предлагают взглянуть на широкую улицу Торжка. Художник любовно подчеркивает грубоватую архитектуру старинных домов с высокорубленными окнами и крышами, крытыми черепицей и дранкой. И деревянные дома, и церковь вдали органично вписываются в искрящийся влагой воздух. Вдоль дороги, зеркальной ст дождя, в серебре общей тональности — прозрачные рыжеватые деревья с облетевшей листвой. И вот чудо — каждый тополь похож силуэтом на листок тополя!

Осенние деревья с поредевшей кроной или вовсе голыми ветками, лишенные объема и похожие издали на собственные листья, на невесомые перышки. Зе-

вакин часто выделяет в пейзаже, объединяя их структуру графическим контуром. Это один из любимых образов художника. Он прослеживает ажур ветвей, который и сам по себе может быть интересным узором, иногда он показывает в этом ажуре просторный ландшафт, небо в разрывах облаков, кисти рябин — орнамент из живых деталей. Картина «Осеннее кружево» — типичный пример такого орнамента, сотканного рукой художника из трепета живой природы.

...Кирпичные, пунцовые, коричневые одежды рощи в пору последних дней осени просматриваются сквозь кудрявые узоры облетевшей ольхи.

Ольха (элемент графического решения

в живописной композиции) заполняет причудливым кружевом среднюю часть холста и его левый угол, а из правого нижнего угла, уравновешивая ритм ветвей, набегает к подножию ольхи новое кружево — рябь лесного озера. Вся композиция выглядит издали как фантастический ковер.

Есть где разгуляться суждениям зрителей, не терпящих вымысла. Здесь налицо и намеренный отказ от объемности («Я с детства не любил овал...») и добавок нет прямого «отображения реальности». Бунт! И кое-кто из зрителей пытается надеть уздечку на разбушевавшуюся фантазию живописца. Но посоветуем «реалистам» не делать поспешных выводов. Знают ли они сами узор ольховой ветки, усеянной шишечками? Если да, то как не подивиться точности, с какой художник перенес его на полотно! Но он укрупнил его, «возвел в степень», из многих наблюдений выбрал наиболее впечатляющие и создал единый собирательный образ, написал не конкретный пейзаж природы, а Сказ о природе.

Внешняя достоверность уступила место внутренней сути, как если бы художник вылавил ее кристалл. Стоит вспомнить слова Гете: «Если художник срисует с полной точностью мопса, то будут два мопса вместо одного, а искусство ровно ничего не приобретет».

Свободный полет воображения с незапамятных времен позволял художнику заглянуть в тайники природы, где хранятся первопричины непостижимых уму связей больших и малых явлений.

То, что Виктор Зевакин любит называть «кружевами» — не что иное, как попытка разглядеть за внешними приметами хитрую цепочку бесконечных метаморфоз природы, разомкнуть загадочный «овал», который запер нас внутри непознаваемого, попытки вырваться из которого подобны упрямому рисованию «углов».

Дерзким любопытством ребенка и еще интеллектом исследователя должен быть награжден от природы художник XX века. Но все-таки начало живописи — эмоция и, значит, возвращаемся все к тем же истокам: не по уму, а по сердцу...

...На выставке Зевакина висит маленькое полотно, изображающее листопад берез. Стоя перед ним и разворачивая время в обратной последовательности, видим художника у мольберта в городском парке. Куда-то вглядывается, мягко мажет кистью. Отойдет, посмотрит издали, прищурится и снова шаг к этюду... Под ногами шуршат подсохшие листья, а там, где просвечивает земля, видно великое множество светлых поросинок от разлетевшихся сережек березы, так удивительно похожих на маленькие самолетики... Сколько в природе таких больших и малых переключек. «Вещи аукаются...» — говорит в своих стихах Андрей Вознесенский. Но Виктор Зевакин любит Есенина, а я, когда смотрю его холсты, вспоминаю иногда стихи Николая Заболоцкого. Особенно хочется вспомнить его, читая зрительские отзывы, в которых главное требование к художнику — внешнее правдоподобие изображаемого.

«...А если так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота
Или огонь, мерцающий в сосуде?»

Большие и малые переключки в природе и в жизни могут увидеть только глаза, различающие внутренний свет вещей и явлений... Частицы березовой сережки напомнили самолеты, а кедровая шишка напоминает Зевакину кедр в миниатюре, лист тополя — крону тополя. Бабушкин лоскутный ковер дает ассоциации красок земли, в Тобольске диковатый облик скал воскрешает ему образ времени Ермака. Повторяя в рисунке деревянную резьбу маринских

ставен, Зевакин перевоплощается в старого мастера — их создателя, а в условной резьбе узнает вдруг обобщенный образ рябиновой кисти. Вот пишет Зевакин свои бесчисленные рябинушки, горячие, как костры, и в них незаметно вливается и передается затем зрителю его постоянная мечта: «Вот бы украсить рябинами улицы города»...

Можно говорить об искренности живописи Виктора Зевакина, о тяге его к фантастическому цвету, но всегда встанет вопрос: ради чего? Касаясь стержня в творчестве Зевакина, почувствуешь такую органическую любовь его к своей земле, что снова хочется сказать, не боясь громкого слова, о верности живописца гражданскому идеалу. Я помню выставкомы, на которых живопись Зевакина нарекалась едва ли не старомодной. Десятилетия назад эпидемия конъюнктурного начала особенно серьезно коснулась искусства станковой живописи. Многие живописцы тогда, не видя перспектив, уходили в «графики», в «монументалисты». Зевакин оставался верен себе. И становятся понятны его многочисленные варианты — изображения памятников русской архитектуры, пристрастия к древним лицам русских сел, к истории Тобольска, Ладоги, попытка сделать из сибирского пейзажа живописный эпос, постоянная верность деревенскому пейзажу.

Трезвый зритель задает обязательный вопрос: где сегодняшний день в картинах Виктора Зевакина? И хочется ответить ему вопросом: разве участие в мыслях и чувствах современника — не главный признак времени в холстах художника?

Подойдем теперь к еще более суровым зрителям — художникам. Товарищи

скажут о Зевакине: «Колорист! Живописец милостью божьей... Но иногда срывается, не всегда последователен в поисках. Кое-что сыровато, поспешно, его потолок еще не достигнут».

Как не согласиться? Кому много дано, с того много и спросится. Но у зрителей, любящих художника, своя логика. Искусствоведческими терминами ее не выразить. Можно только попытаться выразить свои ощущения. Вот они. Отчего сбивчивая, но страстная речь притягивает, как магнит, а правильная и красивая скользит мимо слуха? Отчего живое обаяние некрасивого лица побеждает холодную и правильную красоту?

Следить за творчеством художника — все равно что наблюдать за развитием собственного ребенка. Трудно быть беспристрастным, произносить о нем непогрешимые суждения. Начинаешь понимать причины удач и промахов, видишь, что за временным молчанием кроются поиски, без которых немислим художник, замечаешь, что наши требования художнику дороже похвал.

Вмешательство художника в нашу жизнь мы замечаем только на выставках. Но ведь если даже перед глазами нет картин, знаешь (и хорошо от одной мысли при этом), что сейчас где-то в своей таежной Симоновке Бачинин болеет новым мотивом и спешит воплотить его в жизнь, что часами бродит по улицам и рощам Виктор Зевакин — ищет для наших глаз целебные краски. Вечный долг художника перед людьми всегда понятен. Но есть и у зрителя свой долг: судить художника и верить в него, постоянно помогать ему этой верой.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА

(Заметки о рассказах
кузбасских авторов)

Где-то ведутся споры об оскудении рассказа как жанра. Где-то сетуют на ослабление читательского интереса к нему, а кузбасским литераторам на эту тему спорить недосуг. Они... пишут. Пишут новые рассказы. Притом увлекают этим плодотворным занятием почитателей иных кумиров. Доказательства? Есть и доказательства. Первый сборник рассказов выпустила известная в Кузбассе драматург Зинаида Чигарева. Первую книгу прозы отдал на суд читателей поэт Виктор Баянов. Известно, что и еще кое-кто обратился к мобильному жанру, чтобы скорее высказать, донести до читателя сокровенное, выношенное в раздумьях о времени и о себе...

Поэтому разговор о последних наиболее значительных рассказах кузбассовцев представляется мне полезным и своевременным.

1

«Пока зимник за ручьем был пустой, безжизненной коробкой, никто не обращал внимания, что он стоит на замечательном месте.

Но вот исчез вокруг дома бурьян, блеснули ослепительно-синим окна, к ручью от дверей побежала галечная дорожка, растопыренная, как ламповый ерш, поднялась над крышей антенна — и сразу стало видно, какая здесь красота»,

Владимир Мазаев. «Особняк за ручьем».

В динамическом ключе, на небольшой площади тематических поисков, с большой глубиной раскрытия характеров работает Владимир Мазаев. Его герои очень конкретны в действиях, поступках. Они и в сомнениях не выходят «из образа».

Писатель менее всего играет на нюансах и полутонах. Его подтекст — возможность для читателя оценить поступок героя, взглянуть на мир его глазами. Для Мазаева характерен не ансамбль, не антураж, а герой, его жизнь, его дело.

Таков Русин из одноименного рассказа. Добр и покладист этот интеллигент, хотя упрется на своем — не сдвинуть. У парня нелегкое задание: за неделю до весенней распутицы вывезти из необорудованного карьера полтораста машин фосфорита. Машины могут делать только один рейс и только ночью, по морозцу. Людей нет. У начальника партии Власенко, который должен

помочь Русину, свои нестложные заботы. Первая ночь — и после отчаянной до кровавых мозолей на руках, работы отправлено лишь одиннадцать машин. Русин идет объясниться с начальником партии:

«Он остановился рядом с начальником партии и, не поздоровавшись, сразу сказал:

— Сегодня три машины ушли с карьера порожними. Мы не смогли их нагрузить.

— Вот как? — холодно проговорил Власенко, не поворачивая головы. — Чего же это?

— А того, что вместо двадцати человек вы мне дали двенадцать. И только женщин. Экспедиция же, вопреки вашему проверенному методу, прислала все машины, сколько мы просили. Сегодня ночью с этими людьми я не нагружу и шести машин.

— У меня здесь не Америка — безработных не имеется. Я вам дал все, что мог, и даже сверх того.

— Экспедиция, должно быть, знает, что здесь не Америка.

— Ничего она не знает, ваша экспедиция! — бросил Власенко, глядя по-прежнему в сторону.

— Послушайте, почему вы со мной так разговариваете?

— А я вам говорю, что ничего она не знает! — повторил Власенко. Он встал, высокий и сутулый, и резким, злым взмахом далеко отшвырнул окурок. — Если бы знала, не требовала бы людей именно сейчас. У меня одних забоев сорок штук, не считая буровых, и всех их надо подготовить к паводку. Вы видите, какие здесь снега? Два шурфа на южных склонах уже в воде. Я не от хорошей жизни здесь торчу. Или вы считаете, в обязанности начальника партии входит это — перетаскивать своим горбом вышки?... Где была экспедиция раньше? Ведь мы карьер вскрыли два месяца назад...».

Прояви Русин обычную толкаческую хватку, попробуй взять «на горло», не видать бы ему от Власенко ни сочувствия, ни помощи. У того ведь, как мы убедились, и характер, и свои далеко не пустышные заботы. Но и Власенко, выделившего-таки людей, и безымянного шофера, подбросившего мысль о сооружении эстакады, и взрывника Илью, спасшего карьер от паводка — всех, кто сталкивается с Русиным, покоряют его молчаливая преданность делу, умение не считаться с собственными неурядицами, неожиданная даже для себя самого смелость:

«Сани внезапно накренились и сначала медленно, потом все быстрее заскользили под уклон. Рабочие пытались догнать их, утопая в снегу. Сани двигались мимо стоящих под деревом Русина и Власенко.

Тремя прыжками Власенко выскочил на след, подхватил одну из двух длинных грубо оструганных ваг. Сунул ее под полозья, и Русин увидел, как, вспарывая снег, изогнулась жердь. Но это продолжалось несколько мгновений — вага хрустнула, и Власенко едва отскочил в сторону.

Сани прошли, и он, с искаженным от пережитого напряжения лицом, побежал рядом, держа в руках бесполезный теперь обломок.

Русин бросил взгляд на вторую вагу. Он был к ней всех ближе, это испугало его — и сразу вывело из нерешительности. Он подхватил вагу на перевес, как копье, и побежал за сани, еще не зная, что из этого получится.

Последние шаги он почти прополз на коленях и воткнул жердь под торчащий пенек.

Он почувствовал, как тупая, непреодолимая сила приподняла его и отшвырнула прочь. Он упал лицом в снег, ослепленный, ду-

мая, что сани движутся на него, в отчаянии пополз на четвереньках. Вага описала верхним концом дугу, легла на упругую крону ели. Сани скрипнули и нехотя стали.

Русин сидел поодаль, выцарапывая из бровей снег. Он тяжело переживал свое минутное малодушие — не мог простить себе, что на виду у всех полз на четвереньках от саней, которые, в общем-то, уже стояли.

Подбежали рабочие, они громко дышали, переругиваясь, заглядывая под сани, словно еще не уверенные, что все обошлось. Кто-то подошел к Русину, подал ему бот.

Он поднял голову и увидел начальника партии.

— Все равно бы они, проклятые, за ель зацепились. Зря вы это рисковали, — сказал Власенко хмуро.

— А вы? — спросил Русин.

Власенко промолчал и уже другим, совсем не свойственным ему тоном, словно извиняясь, проговорил:

— А вообще-то, спасибо. Ловко это вы подсунили вагу, с расчетом.

Потом подбехал трактор, зацепил сани, снова потащил их через косогор».

Ни одной внешней детали, кроме русиновского бота, что застрял в снегу. Однако, согласитесь, Русин и Власенко «глядятся» отчетливо. Так же, как и дальнейшее развитие отношений между ними. Оплотом дружбы этих людей станут взаимное доверие и уважение. Ведь как бы ни ясна была Власенко интеллигентская неприиспособленность Русина, ему так же понятны его добротная душевная закваска, умение быть вместе со всеми, забывать, что он тут — посторонний. Характер, развиваемый непосредственно действием героя, столкновением его с неприсущей трудностью — главное средство творческой палитры Владимира Мазалева.

В рассказе «Чужаки» (во внешнем сюжете) действуют трое: старый таежник Арсентий, начальник метеостанции Карышев и безымянная фельдшерлица. Если старика Арсентия автор считает необходимым как-то представить, то о Карышеве и фельдшерлице сообщает буквально следующее:

«Карышев в черном простроченном полушубке, с палочками вместо пугоец, сел рядом на ступеньку, из пачки зубами вынул папиросу, громко дунул».

«К вечеру на санях приехала фельдшерлица — решительная краснощекая девочка в меховой куртке и лыжных брюках с нашитыми стрелками, громко и сердито поздоровалась от порога, шаркнула о пол баульчик».

Видно, что внешность героев, их облик занимают писателя менее всего. Главное для него — обстоятельства, в которые герои поставлены.

Метеорологи упустили зонд. Карышев предполагает, что занесло его в тайгу. Искать лучше со стариком, знающим здешнюю глухомань. Но старик болен. Карышев, хотя ему не до лишних хлопот, возвращается на базу и привозит к старику врача. Начальник метеостанции и не предполагает, что именно зонд — причина недомогания Арсентия.

И вот врач в избушке Арсентия.

«Она вынула бинт, с треском разорвала упаковку:

— Разное про вас люди несут: и нелюдим-то вы, и скуп, и даже наговорами вроде занимаетесь. Я, конечно, не верю, но ведь

правда, что когда вы мимо поселка идете, все собаки прямо-таки с ума сходят, сама видела!

— Дурные у них собаки, распущенные, вот и сходят, — сказал старик.

— Ну, хорошо, собаки — это ерунда, меня они первый раз тоже чуть на кусочки не растащили, спасибо одному человеку, выручил. А вот скажите, почему это вас Шаманом зовут?

— Кто зовет, того и спросите, мне все это ни к чему, вышел я из годов, чтобы силой своей пользоваться.

— Это какой же такой силой?

Старик заморгал, брови его задергались, он скосил глаза.

— Нет, вы погодите, — вдруг заволновалась фельдшерица, ее руки замерли на полпути. — Это какой же такой силой? Сверхъестественной, что ли?».

Пересказанный мной сюжет в рассказе лишь своеобразный, временный орнамент. Главное место в нем занимает история трудной жизни Арсентия в общине староверов, изображение диких бесчеловечных нравов, сделавших Арсентия отшельником, а его судьбу столь трагичной и опустошенной.

Едва ли не первым актом высокой человечности в его жизни и явился приход Карышева, вызов к нему фельдшерицы, ее перевязка и этот заботливый, несмотря на внешнюю грубоватость, разговор. Едва окрепнув, старик тайком, ранним утром, тащит спрятанный зонд во двор метеостанции.

Мазаев не выписывает тонкостей кипевших в душе старика чувств, он изображает лишь его действия, и чувства становятся нам ясны и понятны.

«Старик остано­вился, снял со спины мешок и минуту стоял, дыша, чувствуя, как дрожат от долгого подъема ноги, удивляясь тому, что несколько дней болезни отняли у него столько сил. Развязал мешок, вытряхнул на тропу скрученный крест-накрест сверток, рядом поставил тяжелую коробку с поблескивающей пластинкой: «Нашедшего просим сообщить или доставить по адресу...» Потом свернул мешок, высвободил одну лямку, перекинул через плечо и, нагнувшись, еще раз по-хозяйски потрогал мягкий сверток.

Вниз он шел легко, без тропы; матовый отсвет неба на востоке, проливаясь сквозь деревья, падал под ноги длинными узкими столбами, и трава, и хвойная подстилка, и валежник на пути серебрились молодой изморозью».

Не правда ли, исчерпывающая характеристика мыслей, борющихся в сознании старика, жалости по прекрасному шелку зонда, кусок которого он мог бы подарить славной девушке — фельдшерице, и радости от того, что он может больше не прятаться от людей, что мстить ему поселянам не за что и мазаться медвежьим салом, чтобы пугать собак, теперь тоже ни к чему. А всего-то — «по-хозяйски потрогал мягкий сверток», «шел легко» и «молодая изморозь».

В подобной манере решен и рассказ «Особняк за ручьем». Его герой взрывник Гошка означен самыми общими внешними приметами:

«Вот он вышагивает по таежной тропке, сгорбившись под рюкзаком, маленький и узкоплечий, как подросток. Он идет и сосредоточенно смотрит на сбитые до белого носки своих сапог».

Но Гошка как на ладони в своем поведении, в отношении к делу, к людям. Вот он молча сидит на раскомандировках «в дальнем углу, положив на колени блокнотик, сшитый им из ученической тетради».

Вот, отпалив до обеда все забои, засыпает старые отработанные шурфы. По технике безопасности ему этого делать не полагается, но как быть, если засыпать шурфы некому, а оставлять так — опасно: «недавно в один из таких колодцев упал теленок».

Погулявшая с Гошкой несколько вечеров девушка может запросто его бросить, едва только подворачивается удачная партия, но при встречах потом будет здороваться как ни в чем не бывало. Гошка делает вид, что не обижается. Он не танцует, когда девчата приходят к ним в общежитие. Гошка ремонтирует радиолу, так как пообещал ребятам, что вопреки всему [нет запасных частей, и Гошка многое делает вручную — Л. Х.] скоро они будут танцевать под радиолу.

Гошка такой. Он не любит лезть на первый план, но не может допустить, чтобы еще один теленок свалился в шурф.

Он тихий. Но он рискует собой, когда незнакомая женщина нечаянно подходит к месту взрыва.

Человек труда, неприметный и самоотверженный, вот основной герой произведений Мазаева. В «Особняке за ручьем» чувство Гошки и Нюси — радостная, животрепещущая созидательная сила. Счастье мазаевских Гошки и Нюси не затянато сумерками кержатчины. Им не грозят кровавой расправой, как Арсентию из рассказа «Чужаки.» На их любовь по-доброму любят люди. Но именно любовь помогает им пройти через трудности с поднятой головой.

«Они стали искать встреч друг с другом. Если Нюся работала во вторую смену, она днем убегала в тайгу, к Гошке. В поселке вскоре уловили закономерность: как только Нюська убегала в тайгу, во взрывах наступала пауза. «Дружат» — говорили тогда в поселке и понимающе хмыкали».

Невзгоды жизни в заброшенном «зимнике» геологов (им больше нигде было начать семейную жизнь — Л. Х.) не пугают влюбленных. Они самоотверженно латают потолок, окна и стены развалюхи и даже сооружают печь из плитняка. И люди, один за другим, чем могут, помогают им.

Писатель не скрывает привязанности к светлым образам Гошки и Нюси. Любовь эта прорывается во всем. Нравственная высота, красота чувств любящих жизнь людей подбирает писателю краски, подсказывает веселую, оптимистическую тональность.

И в грустные, нелегкие минуты, когда Гошке с Нюсей приходится дарить «особняк» семье приехавшего механика, когда Нюся попадает в больницу, Владимир Мазаев находит проникновенные слова, дарящие веру. Все будет хорошо. Не может не быть.

Владимир Мазаев не дает оценок. Он доверяет читателю. Он, «словно бы пряча свою наблюдательность, дает героям самим раскрыться в словах и поступках». Эту особенность современной прозы, и, в частности, современного

рассказа, очень точно подметила критик И. Стрелкова*, говоря о рассказах Астафьева, Носова, Шукшина.

2

«И он понял, как самую простую, самую прописную истину, что мог бы умереть на этой священной и вечной земле так же просто, естественно и беззаветно, как его отец, как те русские парни, что легли здесь когда-то. И это было то главное, что сумел открыть он тихим сентябрьским утром в окружающем его мире, в самом себе».

Зинаида Чигарева. «Тихое утро».

Не утверждаю, что привел в качестве эпиграфа наиболее характерный для творческой манеры Зинаиды Чигаревой отрывок, мне важнее было подчеркнуть, что для героя рассказа «Тихое утро» и для всего творчества писательницы главная цель — открытие в окружающем мире и людях механизма чувств, умонастроений и переживаний. Изучению движений души и разума посвящены, пожалуй, все без исключения рассказы, собранные в сборнике «Золотые холмы детства». В каждом из них для Зинаиды Чигаревой важен ансамбль персонажей, важны эмоциональные, психологические штрихи. Через детали поведения писательница раскрывает нравственный облик, духовную цельность или пустоту людей, их способность жить чужими радостями, разделять чужое страдание или закрывать глаза, эгоистически замыкаться только в себе.

Зинаида Чигарева и в рассказах остается драматургом. Это обогащает сюжетные линии неожиданными поворотами, ее герои запоминаются «особинками» речи, манер. Суть же любого ее произведения составляют уроки нравственные.

Еще только зарождается чувство, которое, может стать, свяжет на всю жизнь школьников Ленку и Володьку из одноименного рассказа. Но сколько у этого чувства уже сейчас тончайших оттенков!

Любит беззаветно и ежедневно мучается опасениями за судьбу мужа-горноспасателя молодая учительница Вера Игнатьевна из рассказа «Ключ». Ее чувство — ее нравственная опора, невиданное богатство и постоянная боль, тревога.

Своеобразно исследует писательница характеры инженера Юрия Алексеевича и безымянного журналиста в лирических миниатюрах «Последняя сказка» и «Тихое утро». В значительных по объему рассказах «Терра инкогнита» и «Золотые холмы детства» писательница как бы пропускает юношеское восприятие мира, одухотворенность ожидания любви двух юных людей через сердце чуткого, много повидавшего и пережившего человека, душа которого, однако, не остыла, не разучилась откликаться на красоту и необычность рождения каждого дня.

В первом из рассказов герой — странная для непосвященных дружба двух людей: «пожилой женщины и юнца, который едва ли может наскрести немно-

* И. Стрелкова. «Походка современного рассказа», «Литературная Россия», № 32, 8 августа 1971 г.

гим более двадцати лет». Этих людей объединяет то, что они оба безнадежно старомодны.

«Среди всех новейших веяний века с его сумасшедшими скоростями, оглушительным сумбуром транзисторов, гипнозом телевидения, претенциозностью кинематографа... ухитрились уберечь для себя тихий мудрый мир старых, давно вышедших из моды мелодий, тех, что берут за душу своей гармоничной простотой, мир удивительно прозрачных, ясных, родных до боли пушкинских строк — мир понятий, который многим кажется сейчас нелепым анахронизмом».

Но, оказывается, есть еще и третий человек, который так же, как они, двое, мечтателен и раним. Этот третий — девушка, влюбленная в парня, молодого провинциального газетчика Егора Стрельцова. Она пишет ему вдохновенные письма. Только, кто она, ни Егор, ни его верный старый друг не знают. Когда же Егор пробует в парке найти свою фею и обращается к одной из девушек со стихами из писем своей незнакомки, та вне себя от обиды выпаливает в лицо ему: «Дурак!» Ошибся Егор, он оказался плохим физиономистом.

Однако нравственный стержень рассказа куда более глубок и самостоятелен. Терра инкогнита для автора и героев рассказа — новое поколение. Оно, растущее, вроде, на глазах, все-таки остается для нас во многом неразгаданным, незнакомым и потому особенно дорогим, как сказка, как мечта.

Второй рассказ — «Золотые холмы детства» — взволнованная память о поре, которая в каждом сердце оставляет самые трогательные и вечно живые воспоминания. Ее неувядающие ценности — самостоятельные открытия прихода зимы и лета, таинственных полян в лесу и пещер на берегу пруда, осознание своей нужности отцу с матерью, проникновенное ощущение родных изначальных мест — всех «Золотых холмов детства»! Как близко этой чистоте и незамутненности в душе человека сознание движения жизни, необъятности русской земли и ее могучности. Это второй эмоциональный аспект рассказа.

Мы готовы воскликнуть с героиней, босоногой девчонкой Юлькой — солидным врачом Юлией Тихоновной:

«Прошлое? Как бы не так! Не существует никакого прошлого. Потому что ничто не проходит, ничто не исчезает бесследно. Все остается, все живет — живет в нас, в нашей памяти, в нашем сердце — именно там, в сердце, в сокровенных глубинах человеческой души, прошедшее, настоящее и будущее, сливаясь воедино, предопределяют наши чувства, мысли, поступки — всю нашу судьбу...».

И тут я позволю себе не согласиться с поэтом Михаилом Небогатовым, откликнувшимся небольшой рецензией* на сборник рассказов Зинаиды Чигаревой. Признав в целом удачным дебют драматурга в новой ипостаси, он особо останавливается на рассказе «Дома», заканчивая разговор о нем буквально следующим: «Вряд ли, на наш взгляд, стоило включать в книгу рассказ «Дома», и тем более делать его заглавным».

* М. Небогатов. «Большая любовь», газета «Кузбасс», 13 января 1971 г.

Оказывается, «У этого персонажа (имеется в виду героиня — студентка Светлана — Л. Х.) — нет совершенно ничего общего с остальными героями Зинаиды Чигаревой, с людьми возвышенного строя души, которых с полным на то правом можно назвать романтиками, мечтателями, поэтами».

Помилуйте, но разве развенчание эмоциональной глухоты, духовной нищеты, эгоизма не может быть предметом внимания художника?

И, соглашаясь с Михаилом Небогатовым в общей справедливой и точной оценке большинства героев книги как романтиков и мечтателей, в точной оценке героини рассказа «Дома», хотелось бы обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. А почему бы рассказ «Дома» с его страстным протестом против душевной опустошенности, нередкого эгоизма молодости не оценить как напряженную предупреждающую струну, своеобразный камертон? Разве он не говорит, что все самое замечательное в мире — веру в чистоту людских отношений, распахнутость навстречу жизни, радость каждому новому дню — можно потерять безвозвратно, если жить, не отдавая себя людям?

Я бы сделал одну, на мой взгляд, существенную перестановку в книге. Открывал бы ее «Золотыми холмами детства», а закрывал рассказом «Дома». И вот почему. «Золотые холмы детства» — в основе своей открытие мира. Следующий рассказ «Ленка и Володя» — открытие героями-подростками неведомого сердечного беспокойства, что позже они назовут любовью. «Ключ» — осознание этого светлого чувства взрослыми. «Последняя сказка» — вечная надежда на взаимопонимание и искренность. «Тихое утро» — жесткий толчок мужского самоанализа. «Терра инкогнита» и «Дома» — как полюса любви. Одной — искренней и не тронутой модными веяниями века и другой — придавленной расчетом, уязвленной червоточинной духовной скудности.

Впрочем, Зинаида Чигарева тоже не обходится без попаданий «в молоко». Прежде всего, это происходит, когда она увлекается внешней образностью, дидактикой. Ее главная беда — многословие. Так, на мой взгляд, мало внутреннего действия, развития характера в рассказе «Ключ». Не всегда оправданы длинноты пейзажных экскурсов в «Золотых холмах детства». Они так воспринимаются не потому, что длинны в самом деле, а потому, что «не рабotaют» на образ Юльки, не открывают в нем новых, неизвестных граней.

Иногда в рассказах проскальзывает и излишняя экзальтация, мнимая эмоциональность героев. Писательница вновь ударила в многословие, не найдя оригинального образного эквивалента. Этим более других страдает рассказ «Тихое утро».

В целом же и дебют, и выбор темы можно назвать удачными.

3

«Как-то, помню, мы с матерью по ягоды ходили. Я за день полведра не набрал, а мать целую корзину. Идем домой, она и говорит: ты только ту ягоду срываешь, что на виду, сама в ведро смотрит. А надо пониже склоняться, траву разводить».

Виктор Баянов. «Нежданный поворот».

Поэт Виктор Баянов включил в свой первый сборник прозы два рассказа. Первый — «Август» — история взросления деревенского парня, история его первой влюбленности. Традиционные озорничанья сельской юности, картины уютных рыбалок и ночных страхов, исконной радости сенокоса — все это писатель чувствует и раскрывает тонкими акварельными красками. У Баянова нет крутого мазаевского сюжетного замеса или чигаревской душевной углубленности, самоанализа. Его герои, что Митька из «Августа», что Ленька из «Нежданного поворота» — характеры несложившиеся. Их формирование идет неспешно, как неспешно и незаметно переходят летние краски в осенние. Даже когда жизнь ставит перед ними вопрос, что называется, ребром, как перед Ленькой, они еще долго будут вынашивать этот вопрос в себе, не делая решительного шага. Что ж, Виктор Баянов, на мой взгляд, очень точно и художнически вполне самостоятельно разрабатывает эту приметку века — с одной стороны, раннее возмужание юности, стремление скорее самоопределиться, с другой, некоторую затянувшуюся инфантильность ее в делах житейских.

Вот разбитной тракторист Ленька («Нежданный поворот»). Легко и бездумно живет этот парень. Ему ничего не стоит протачиться с молокозавода на своем ходком тракторе «Беларусь» едва ли не пешком, чтобы заведующая фермой не послала его еще в один рейс. Он может поухаживать за девушкой, а на другой день не замечать ее. Жизненные планы его туманны и призрачны.

Беззаботная Ленькина жизнь обрывается с приездом на каникулы студентки Любы Фроловой, девушки из их деревни. И особенно после незадачливого рейса в райцентр, когда к Леньке на тракторный прицеп сели подвыпившие братья Щелоковы. Отвлечшись, Ленька чуть не проехал за поворот, резко повернул — и братья оказались на земле. Один ушибся да губу рассек, а второму заднее колесо прицепа пришлось по руке. Но братья не бьют Леньку, не мстят ему. Их расположение объясняется привязанностью к Леньке их сестры, чья судьба никак не складывается:

«Ленька еще в восьмой класс ходил, когда Катька ушла замуж в соседнюю деревню. Но не прожили молодые и года, увез ее какой-то лейтенант от мужа на Дальний Восток. С тем хоть и ребенка прижила, но жизни что-то тоже не получилось. Ребенок умер, и Катька завербовалась еще дальше — на остров Сахалин. Нагляделась на белый свет, набедовалась, да и вернулась в Сосновку к матери...»

Одна надежда теперь у Катьки, подчеркивает автор, на внимание Леньки.

Вроде случайно, — вспрыснуть счастливый Пронькин перелом: рука срывается хорошо, — сообразили братья Щелоковы вечеринку. Не помня себя после выпитого, остался с Катькой Ленька...

Виктор Баянов свободно владеет живописным, образным словом. В финале рассказа рисует он картину рассеянной охоты Леньки. Едва не кончается охота для парня трагически. Каждая фраза, каждая картина здесь, что называется, пригнана к месту рукой мастера. Мучительно осознает Ленька всю двусмысленность своего поведения в последние дни, губительную неосторожность встречи с Катькой.

Виктор Баянов — поэт, и он щедро рассыпает символические штрихи, которых иному умелому прозаику хватило бы на добрую повесть.

Случившееся с Ленькой похоже на «давнившее грязное пятно, расплывшееся по дерматину сиденья» (Ленькиного трактора — Л. Х.). Он теперь «будто впервые видел его и мучительно раздумывал, как его стереть...»

А покаянная Ленькина любовь? Не напоминает ли она «недолговечную траву-подсаду — отаву»? «Но эта трава — не трава, так себе. Она не шелковая, не глушит шаги, когда идет по ней, ломается и хрустит, остекленев от инея, как та, на взгорьях — пожухлая, упстренная палым свивающимся листом».

И убитая Ленькой утка. Убитая без азарта, в каком-то отупении. «Привязанная за лапы, она оттягивала пояс, билась головой о сапог». Не роковая ли это ночь?

И тоненькая, молоденькая березка, чудом уцелевшая на болоте, не Любима ли это любовь, что одним озарением своим способна вытащить Леньку из трясины, выручить его из беды?

Несомненно то, что от Виктора Баянова можно ждать интересных и значительных произведений. Пока же, говоря языком деревенских плотников, того же Фомы Мерлушкина, он ворота рассказов ставит широко: хоть на тройке въезжай. Но когда рассказ дочитан до конца, видишь, обужены оказались ворота: задевает воз и боками, и верхом. И не потому, что велик воз — рассказ, а просто поклажа не увязана как следует. То перед перегружен, то вся тяжесть валится на хвост.

Это пройдет со временем, поскольку свидетельствует о художнической щедрости автора и о добром сопротивлении жанра.

* * *

Несколько итоговых слов.

Наша жизнь стремительна, век уникален — информационный взрыв, крупнейшие научные открытия, покорение космоса, сооружение технических гигантов, новое открытие Сибири. Все это бросается художнику в глаза. Это легко, это на поверхности. Но как увидеть строительство коммунистического характера, рождение новых психологических черт у человека, что живет, работает с тобой рядом.

Надо быть внутренне нацеленным на это открытие всем строем чувств, мыслей и убеждений. Успех в этом многотрудном деле может определить лишь идейность, высота нравственных критериев, внутренняя доброта и честность.

И меня радует обращенность кузбасских прозаиков к сегодняшнему дню, к его нравственному климату, к исследованию увлечений и страстей, куящих новую человеческую личность. Это и определяет азимут их творчества, и дает силы творческим поискам...

2. Москва.



Маврикий Резник

ОШИБКА РАЗВЕДЧИКА

О чрезвычайной осторожности, смекалке и незаурядных способностях этой птицы ходят легенды.

Кто Рим спас? Гуси.

Доподлинно известно: гуси первыми услышали шорох подбиравшегося врага и подняли переполох. Гунны-завоеватели были разбиты. Вечный город на семи холмах остался жив.

Немало восхищался проникательно-стью гусей Виталий Бианки. Помните его рассказ «Лячий ум»? О том, как из поднебесья зоркие птицы замечали возле охотничьего скрадка пороховые следы от выстрелов и за версту обходили опасное место.

В общем, не зря про умных да хитрых родилась присказка «ишь ты, гусь лапчатый».

Михайла, плотник из деревни Острог, знал о повадках птицы не по книжкам и чужим рассказам — не один десяток лет держал ружье и сам, умея это сделать, мог написать ученый трактат о том, как охотиться «на костре», зарываться в землю, скрадывать с подбегом, с чучелами и профилями, на перелете. Но когда увидел прижившуюся на Андриюшкином острове огромную, в овечьих табун, гусиную стаю, а остров тот, словно застрявший посреди реки плот, насквозь просматривался и укрыться на нем не только от гусей, но и от любой слабоумной пичужки невозможно, задумался: взять добычу надо, а как?

Стал присматриваться к гусиному

образу жизни. Серьезная птица, строгая! Распорядок — армейский: дружный подъем, водные процедуры, кормежка, отдых, — все, как по хорошо отлаженным часикам. Ни тебе нарушений дисциплины, ни опозданий и нервотрепки. Утром — гимнастика. Вот та-ак, потягушечки — сначала одну лапку и крылышко, потом другую пару затекших конечностей. После этого хорошо ополоснуться ледяной взбодряющей водичкой. Сначала голову, затем пригоршню на шею, грудь, спину, привести в надлежащий вид одежду — разгладить перышки. Туалет окончен, можно на завтрак. Но без сигнала вожак первым — лишь бы я, лишь бы мне — никто не сорвется. Это у гусей не принято. Особый глаз за молодыми. Бузотерят, ломают друг другу маховые перья и все норовят отбиться. Приходится применять санкции по всей строгости закона стаи — задавать трепку, чтобы навсегда запомнили: поломаешь крылья, отобьешься в сторону — смерть: потому что гусь не мелкая птаха, на него охотников больше, чем надо.

Неделю живут на острове гуменники, другую. Еды кругом навалом: ячмень, овес, неемолоченная в валках пшеница. От большого богатства расточителен человек? Или безмерно щедр? Как бы ни было, от кормовых мест бежать нечего, тем более, что на далеком севере, в местах гнездовий, еще лютые холода.

А Михаил присматривается. Неделя доходит — он все до мелочей изучает. Для себя. Интересно. После водных процедур на кормежку снимаются не сразу. Походят, подолдонят меж собой по-своему: «Го-го, га-га». Дескать, сегодня одним на овсы, другим на ячменя. В кучу не сбиваться — колготня из-за тесноты. И навлечь излишне любопытные глаза можно. Табунками надо. Сторожевых выставлять обязательно! Возвращаться таким же манером — небольшими стаями: мало ли что может случиться.

Обговорили, спланировали день, теперь на крыло.

Но и поднявшись в воздух, долго кружат над островом: не приглядел ли кто становище. Только убедившись, что кругом ни души, отправляются жировать.

Лежит Михайла на берегу широкой в половодье реки, не дышит. Тальники, черемушник едва зазеленели-затуманились, путем в них еще не укрыться. Спас когда-то белый, теперь в пестринах под цвет жухлой травы полушубок.

Не заметили гуси.

Скорее на обласок, легкую лодочку-долбенку, и на острв. Там тоже надо успеть соорудить какое-никакое укрытие. Но так, чтобы самый зоркий из вожakov не заметил. Прутик, щепочку сдвинь с места — насторожится, отведет стаю. И пока сам не убедится, что щепку или хворостину принесло водой или забросило ветром, никого из своих к берегу не пустит.

Но и Михайлу не проведешь — как свои пять пальцев знал повадки птиц. Любая из них, когда садится, почти не смотрит по сторонам: озираться некогда, надо упасть где удобнее. И не сводит глаз с облюбованного места: косач с ветки, утка — с пятачка на суше или воде. Хорошо знал об этом Михайла.

Гуси, возвращаясь на дневку, обычно грузно залились на береговую кромку, у самой воды. Охотник затаился на краю обрыва, нависшего над берегом. Туда гуси, подлетая, наверняка не засматриваются. Правда, отсюда выстрелы получаются не настильные, когда, выцелив по головам, на заряд можно полдюжины взять, а навесные.

— Ничего, — успокаивал себя охотник, — гуси возвращаются табунками. Если в этом положении из каждого по паре брать, и то полтора-два десятка насобирать можно.

Залег за коряжину, укрылся шубой, патроны из подсумка вынул и разложил перед собой, чтобы не шебурились, не терять зря время. И, только закончил приготовления, над рекой трубно покатылся:

— Га-а!..

В сторону острова летел гусь. Один.

— Вот те на, — досадно ругнулся Михайла. — А где остальные? Ждал, караулил, примерялся...

Махи у гуменника верстовые. Со стороны кажется медлитель, как черепашка, потому что редко перебирает крыльями. На деле несколько взмахов, и вот он почти у берега. Но почему садится не на сушу, а поодаль на воду? Осторожничают? Или заметил? Один — и тот уйдет. Может, все-таки испытанная, довоенного выпуска 12-калибровая «бельгийка» не подведет? Не возвращаться же пустым после недельного «выпаривания цыплят», как зло осмеивают у них в деревне такое вот пустое времяпрепровождение. И опять втихомолку, будто гусь услышать мог, выругался. Между тем тот помаленьку-полегоньку тянулся к берегу. Вот он у самой кромки. Сейчас вылезет, отряхнется... Однако гусь плыл дальше, настороженно посматривая по сторонам, придирчиво осматривая берег, не изменилось ли что за время отсутствия.

— Ишь ты! — догадался, наконец, охотник. — А чё же я за вами раньше такого не замечал? Занятно.

Серый гуменник меж тем приблизился настолько, что можно бы и ударить. Но, смекнув что к чему, охотник только носом шмыгнул.

— Га! — обрадованно гаркнул на всю реку гусь, словно говоря: «Порядок в танковых войсках!» Что перед ним разведчик, Михаил теперь нисколько не сомневался. Значит трогать его ни-ни. «Только б не подшуметь. Полобласка навалить можно».

Под конец птица осмелела настолько, что выбралась на берег, поковырялась в галечнике и только после этого, стелясь над водой, махнула на ту сторону реки, откуда прилетела и где на полях паслись родичи. А спустя полчаса на Андриюшкин остров вал за валом обрушились табуны затяжелевших темно-серых гуменников. Шли, как и договаривались, с интервалами в пять-семь минут. И в каждой табуне — десятка по два-три птиц.

И тут с охотником, который все рас-планировал и у которого ни разу в жизни не дрогнула рука, случилось неладное. По сей день не может толком объяснить, что с ним тогда приключилось. «Заворожил кто-то. Лежу, глаза выпустил, а ружья поднять не могу. Или рука на всех не поднялась. Обалдел и только». Настраивался из каждого табунка по паре, а взял всего пару из стаи голов в двести.

Впрочем, шибко о случившемся он не жалеет. Говорит, как всех денег не захватишь, так и всю дичь не забереешь. Все равно останутся. Значит, и жадничать, надсажаться ни к чему. Зато для себя еще одно открытие сделал: у гусей порядочки, как у военных. Даже разведчики есть. По уму живут. А только разведчик все равно ошибочку сделал, зевнул, так сказать, охотника не приметил.

СЛЕДЫ НА ВОДЕ

На воде вилами писано.

Так говорят, когда хотят сказать, что все исчезло, даже следов не осталось.

Между тем, на воде не все исчезает бесследно — и на ней бывает столько следов, что по ним можно узнать не меньше, чем из интересной увлекательной книжки с острым сюжетом и самыми неожиданными, порой фантастическими иллюстрациями. А чтобы прочесть такую книжку природы, надо совсем-совсем немного: чуточку терпения и... наблюдательности. Тогда она откроет немало своих тайн, которые на проверку оказываются самой обыкновенной жизнью вокруг нас.

Вот плывут, кружась и пританцовывая, сахарно-белые, кремовые, розоватые комочки ваты — пены. Они с головой выдают порожистые места. Обычно тихая, уравновешенная, здесь река что разгоряченный скакун. Бьется о камни, вскипает от ярости, обдавая все вокруг мириадами мельчайших алмазно-искристых брызг. Курчавится на каменистых порогах белая кипень — пушистая, словно мех песка, пена, и несет ее река далеко-далеко, вниз по течению. Встретишь караван таких хлопьев — держи глаз востро: там, впереди, коварный порожек с острыми гранитными зубами, для которых дно твоей верной «дюральки», что папиросная бумага.

Давайте посидим на бережку у речной заводи или омутка. Только уговор: сидеть тихо, не шелохнувшись. Вода отличный проводник звука, рыбы слышат ничуть не хуже, чем обитатели леса.

Стайки мальков беззаботно водят

свои нехитрые хороводы, гоняются друг за дружкой. Спинные плавники их то старательно вычерчивают замысловатые вензеля, то стремительно режут водную гладь. Молодь расписывается на зеркальной поверхности залива.

Но что это?

Плавнички вдруг шарахаются в стороны. Окунь? Щука?.. Впрочем, все скоро проясняется: черной молнией мелькнул над самой водой стриж. Эк трусливый народ, эта рыбная молодежь! Стрижа испугались. Да успокойтесь же: ему вы совсем не нужны. Еще издали заметил он ваши плавнички и принял их за рой мошек, опустившийся на воду.

Мелькнул стриж и пропал из виду. Гуляйте себе на здоровье, малыши! Да смотрите в оба, не то в самый раз угодите на обеденный стол речного тигра — окуня. А вот и он. Короткими перебежками, притаиваясь то у камешка, то у травки, подкрался незаметно. Резкий всплеск, словно разбойный посвист в лесу, от которого в старину цепенели путники. У молодежи уже не плавнички, а настоящие крылья: кто под водой, кто над водой — веером враспыленную, только их и видели. Можно и к берегу, на мель: пусть полосатый пообдерет на камнях свою одежду, бронированную кольчугу.

По следам на воде можно подсмотреть, как охотится еще один речной хищник — щука. По прожорливости это тот же волк, с той лишь разницей, что лесной разбойник не погнушается и далеко несвежего мяса и даже растительной пищи, а щука особа разборчивая, она не снизойдет до дохлого пескарика или крахмалисто-сладкой кувшинки. Ей непременно подавай «свежатинку».

Есть у щуки заповедные места: небольшие омутки, проточки, негусто заросшие травой, речные озера-старичьи. Стоит где-нибудь среди зарослей

перистолистника и поджидает жертву. Не моргнут ледяные, исподлобья, серо-желтые глаза, не дрогнет ни один мускул стройного, гибкого тела. Но стоит зазеваться какому-нибудь карасю-мечтателю или легкомысленной плотве, как она стремительно бросается на добычу. От травянистого островка, где хищница скрадывала ее, кругами расходитесь упругая волна. Иногда на этом месте, если схватка произошла у самой поверхности, вскипает пенистый бурун, будто глубоко под водой взорвалась глубинная бомба.

Бывает, и щука подкрадывается к добыче. Больше всего любит толстого пескарика, который в подводном мире что заяц в лесном — за всю живность в ответе. Подберется к стайке рыбешек из-за укрытия, ударит хвостом по воде — глушит, браконьерка! — и пошла собирать урожай. Ершишек не трогает, ерш сдачи дать может.

Как-то я сидел на берегу Поповского, глубокого и в недавнем прошлом богатого рыбой, озера-старичья. Стоял тихий теплый вечер. В такое время рыба особенно любит гулять, «плавиться», как у нас говорят: играет, то и дело выскакивая из воды, с ленцой бороздит полированную гладь озера. Настраивание у нее в такие вечера самое безмятежное, и наблюдать ее можно до темна.

В тот вечер мне, однако, не долго довелось любоваться игрой рыбы. Недалеко раздался треск, и она мигом исчезла. До ночи так и не появилась, чего раньше за ней не водилось: можно было даже искупаться — игры продолжались рядом или вскоре возобновлялись на прежнем месте.

Я поинтересовался у местных рабаков, почему странно так стала вести себя рыба в Поповском. Толком они объяснить не смогли. Зато узнал от них, что на озере не раз побывали браконьеры со взрывчаткой.

По следам на воде приметил я какого вороного красавца тайменя. Есть у нас проточка между островами — Тайменька. Любят ее лососи за ледяные ключи, заходят в жаркую пору лета понежиться в холодочке.

В сообразительности, отваге тайменью не откажешь. К нему, как к той же щуке или лентяю линию, на лодке с острой не подойдешь. По берегу шагаешь — за версту слышит и уходит. А тут иду как-то, любуюсь кристально чистой Тайменькой, дальним лесом в синем мареве. Размечтался — камней под собой не замечаю. И вдруг шумный всплеск, крутая волна, как от только что пущенной торпеды. Оторопь взяла от неожиданности. А это, оказывается, таймень-пудовик сорвался с лежки. Вечером или раненько утром на перекате можно полюбоваться, как он играет, гоняется за рыбешкой.

Многое можно узнать по следам на воде. Было бы желание и... терпение. А еще — наблюдательность. Космонавт Георгий Береговой аж из космоса увидел корабли в океане. Правда, не сами корабли, а их следы — пенистые буруны. Но увидел все же...

А говорят, на воде вилами писано.

СОРОКА-ВОРОВКА

Не знаю, как у других, а у меня отношение к сороке двойственное. С одной стороны, вроде бы ничего птица, даже красивая немножко: белобокая, иссиня-черный хвост будто деревенским кузнецом-умельцем воронен.

Сорока-белобока,
Научи меня летать

Недалеко, невысоко,
Только к милой погулять.

А до чего ж вертлява «белобока» — минуты спокойно не посидит. Не зря о непоседах говорят: «Крутится, как сорока на колу». В лесу не один, поди, охотник хватался за ружье, когда рядом в кустах вспархивала — забьет крыльями, точь-в-точь куропатка или рябчик. Стороной пройдет — что фазан, только опереньем беднее.

С другой стороны, до глубины души не люблю я эту птицу за болтливость. Но весь животный и пернатый мир прислушивается к ее голосу. Застрекочет тревожно — сигнал бедствия: «Человек в лесу. Спасайся, кто может!» А ведь не всегда так панически кричит. Грибник или ягодник ходи хоть целый день по кустам и полянам, можешь даже задеть ее корзиной — слова не скажет худого, а увидит за версту человека с ружьем — боевая тревога. Или мы, охотники, народ такой мнительный и нам вечно кажется, что все живое бежит от нас что есть мочи и прячется в лесу.

О пристрастии сороки к нарядному да красивому слухи ходят самые невероятные: обожает яркие тряпицы, брошки, клипсы. Оставь на пеньке часы или ключ от квартиры — мигом утащит.

Словом, от этой птицы можно ожидать чего угодно.

Как-то фортель, выкинутый ею, едва не стоил мне не то чтобы жизни, а все-таки... В общем, лиха натерпелся: несколько дней сидел на подножном корме, благо в местах, где тогда охотился, грибов, ягод лопатой гребли, а уток — что овса в мешке.

В то памятное утро никаких уток, однако, не было — будто отрезало. К непогоде, видно. Сидел в скрадке и чувствовал себя как человек, которого заставили таскать камни в гору, а по-

том спихивать. Пустая затея и только!

Ну, думаю, раз утки нет на реке, значит, ее надо по озерам или на жнивье смекать. И подался.

Болото, как лес, заманивает: одно место проверил, на другое тянет — дескать, там не лучше ли. И так можно бродить до бесконечности, пока не заблудишься или не почувствуешь, что ремень на брюках окончательно ослаб, а дырок затягивать — больше нет. Так и у меня.

Тогда-то и вспомнил про рюкзак с припасами, что оставил в кустах. А в нем хлеб, сыр алтайский плавленый, сальце — летнее, тощенькое, другая кое-какая снедь.

Вернулся на место, когда солнце макушку припекать стало. У скрадка настоящий птичий базар: гомон, толчея и, похоже, легкая перебранка. Одна сорока на кусту — парадом командует. А, может, за сторожа или на правах первооткрывателя: берите, все ваше!

Стоило мне выглянуть из кустов, как самозванка подняла оглушительный крик. Полянка мигом опустела, и взору открылась печальная картина: кругом хлебные крошки, клочья серебряной обертки. Следов сала обнаружить не удалось. Ладно, до соли не добрались, с чем тогда грибы на костре пек бы!

А вороватая отлетела подальше и ну донимать меня стрекотом. То ли ругалась, что не дал допировать, то ли «с носом» поздравляла. Скорей всего, последнее. Не хватало только, чтобы она мне язык показала. Ах ты!..

Вскинул тулку — ударить из двух стволов...

Но нет, не мог я по ней стрелять. Если так, с бухты-барахты — кто по горячке, кто от безделья, а кто с умыслом — начнут бить направо-налево, топтать, палить, что тогда? У человека теперь вон сколько силищи. Шевельнет пальцем... А не останется ли он тогда на земле один-одинешенек? И не придется ли ему тогда чесать затылок: что же это я, варнак этакий, натворил — всю живность вокруг себя уничтожил! Заглохнет его тоска зеленая. Да поздно будет.

Такое вполне может стать. Додумались же выдавать премии за уничтожение сорок и ворон. Принес в охотобщество пару сорочьих лапок — получи целковый, приволок десять пар — на тебе червонец. Пошто не стрелять! А того не подумали, что в природе все к месту, что сорока и ворона — бесценные санитары лесные. Птицы, звери тоже болеют. И умирают тоже. Только никто еще не встречал в лесу, рощах, на полях ни лазаретов звериных, ни кладбищ. Все подбирают вороны да сороки. Не будь их, еще не известно, как сложилось бы со здоровьем на земле. То-то и оно. Вороватые? Так украдут-то на грош... Да и сам не будь вахлаком, знай сорочьи повадки.

Узнали, почему у меня к сороке отношение двойственное? С одной стороны, вроде бы верно, вороватая, на собственной шкуре испытал злую шутку, сотворенную со мной племенем белобоких озорниц. С другой, нравится: полезная птица да и забавная, без нее в лесу и в деревне скучища была бы необычайная.



Юрий
Соломонов

ОДНАЖДЫ



— Что с тобой, Ной? — спросила жена. — Ты такой озабоченный.

— Помнишь того соседского парня, которого шесть лет назад я помогал устраивать в институт?

— Ну, конечно.

— Недавно он его окончил и стал инженером-синоптиком.

— Это же прекрасно, Ной!

— Вчера погоду передавали: «Ясно, ветер слабый до умеренного, без осадков».

— А разве плохо? Рожь созреет.

Ной ничего не ответил, вздохнул и заковылял к лесу. Ной шел строить ковчег.



Платон явился домой очень поздно.

— Где ты был? — спросила жена.

— Понимаешь, родная, мудрецы задержали. То да се... «Диалоги»...

— Не лги мне! Платон, ты мне муж, и я должна знать, что для тебя дороже: я или истина?!

— Истина моложе, — вздохнул Платон.



Архимед медленно опустил в ванну. Повернул один кран, другой — воды не было.

То ли от злости, то ли от холода Архимеду вдруг в голову пришла забавная мыслишка: «На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила... Это интересно... Дадут воду — обязательно проверим».

Дали воду.

Сразу стало тепло и спокойно. Вспомнился море, знойный пляж, женщины...

Архимед блаженно закрыл глаза.
Архимед был уже больше не Архимед.
В ванне лежало «тело, погруженное в жидкость...».

● ● ●

Женщина была прекрасна. Она осторожно взяла мужчину за руку:

— Идем, Адам. Я покажу тебе что-то...

И Адам пошел за Евой по золотому райскому саду, удивляясь и радуясь прикосновению женской ладони.

— Хочешь яблок, милый? — ласково спросила она.

— Да, — прошептал он, волнуясь.

Они подошли к дереву познания добра и зла.

Под деревом, широко улыбаясь, сидел загорелый брюнет. На голове его покоилась огромная серая кепка. На ящике висела табличка: «ЯБЛУК ЗАПРЭТНЫЙ — 4 рубля».

Вот змий...

● ● ●

Всевышний был очень разгневан.

— Без меня, значит? Запретные яблочки?! Не спросив, не посоветовавшись! Я, может, их к празднику берег, чтобы сообща. Так сказать, всем коллективом. Ай-я-яй!

Ну вот что, Адам, пиши по собственному желанию заявление, бери Еву, Змия и айда отсюда! Посмотрю я, как вы там на Земле без меня управитесь...

Бредет Всевышний по райскому саду, сорвет один запретный плод, откусит — выплюнет, сорвет другой...

Не слышно Евы с ее серебристым смехом, не зайдет Адам поговорить о футболе.

Но нет-нет да и взглянет Господь на Землю, где в страданиях, войнах, любви и радостях рождаются и умирают грешные потомки Адама и Евы.

«Живут же люди...».

●

Гайнц Лаукнер

ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ

Есть же на свете люди, которые любят задавать явно глупые вопросы. Я решил парировать их достойными ответами.

Вот на прошлой неделе выхожу из дома и сразу встречаю старого знакомого. Он тут же спрашивает:

— Это ты?

Я отрицательно мотнул головой:

— Нет, это мой брат.

И прошел мимо. Пусть теперь поломают голову, кого он встретил, меня или моего брата.

Хочу сесть в трамвай, а оказавшаяся рядом соседка по дому спрашивает:

— Вы тоже поедете в трамвае?

— Нет, — возразил я, — только зайду через переднюю площадку, выйду через заднюю, а потом побегу за вагоном.

С тех пор соседка при встрече обходит меня стороной.

Сегодня перед обедом поехал по служебным делам. Поезд мчался уже несколько минут, но господин, сидевший напротив, все же спрашивает:

— Скажите, мы уже едем?

Я глубоко вздохнул:

— Нет, это дома сами бегут мимо поезда.

Господин испуганно пересел в другое купе.

Вечером я вернулся на работу, сел за стол и хотел подготовиться к докладу. Только написал несколько строк, как в дверях появилась секретарша моего начальника.

— Вы пишете? — пропищала она.

Я заставил себя улыбнуться.

— Вовсе нет. Я всего лишь изучаю химическую реакцию при встрече чернил и атласной бумаги, для этого мне понадобилось привести в движение 23 мускула правой руки, в результате чего я смог держать авторучку...

Секретарша выронила чашку с кофе и побежала к шефу. Вскоре меня вызвали к нему.

— Вы здорово напугали мою секретаршу, — сказал шеф. — Она рассказала мне про вас какую-то дикую историю, я не поверил ни одному слову. Выглядите вы совершенно нормальным.

Он затянулся сигарой, ткнул ее изжеванным концом в мою белую рубашку и подмигнул:

— Вы же умный человек, не правда ли?

Я уже хотел ответить ему в прежнем духе, но в последний момент сдержался и только кивнул.

Его вопрос был неимоверно глупым!

Ф. Цлинискайт

ФЕНИКС

Однажды я со знакомым зашел в зоологический сад. Мы поглазели на верблюда, леопарда и осла. Помечтали даже, как было бы здорово прокатиться верхом на слоне в центре города. Наша фантазия разыгралась до того, что мы ясно представили, какой бы вид имел наш шеф, окажись он в клетке тигра. Не удержались, и показали обезьянам язык, а кобру подразнили палкой. Потом мой знакомый вдруг сказал:

— Пойдем к птицам, там я тебе феникса покажу.

— Феникса? — удивился я. — Сказочную птицу?

— Вот именно.

— Феникс стораet и вновь рождается из пепла, — проявил я знание энциклопедии.

— Конечно, не из муки, — ответил знакомый.

Мы подошли к птичьим клеткам.

— Видишь, вон там, около фазанов, стоит феникс?

— Нет, не вижу.

— Да около клетки с фазанами! Теперь видишь?

Около клетки стоял гражданин в пепельно-сером костюме, пепельно-серой шляпе и с портфелем такого же цвета.

— Это феникс? — я вытаращил глаза.

— Еще какой!

— Хм... Ну, внешним видом он напоминает пепел...

— Не только! Недавно вместо него была лишь кучка пепла. Он сторел вместе с птицефермой.

— А потом?

— А потом вновь родился... на другой ферме. В должности заведующего. И таким путем сторал он уже шестнадцать раз и всегда чудесно возрождался. В настоящий момент он очень важная птица в Министерстве сельского хозяйства.

— Ну и дела-а... — вздохнул я, — кого только не увидишь в зоопарке!

Курт
Биндер

РАССЕЯННОСТЬ

Очень я рассеянный. Такой рассеянный, что себя порой не узнаю. Вижу, например, свое отражение в зеркале и кланяюсь ему, имя для знакомства называю... Бросить часы в кипящую воду и с яйцом в руке дожидаться, пока они сварятся — уже не относится к моему репертуару. Это давно известно из анекдотов.

Нет, мои способности выше. Если я вместо вина выпью уксус — в этом ничего нет особенного. Никто не страдает также, если я постоянно сыплю в кофе соль вместо сахара, ибо расплачиваться за это приходится самому. На днях вот я добрых полчаса шарил ножом и вилкой в пустой тарелке, и мне показалось даже, что встал из-за стола сытым. Семья знает эти мои особенности и относится ко мне снисходительно. Только на прошлой неделе дочь осмелилась слегка возразить мне, когда я, прицепив школьную сумку на спину нашей собаке, хотел отправить ее в школу.

Все-таки самой любезной оказалась моя теща. Она приняла от меня веник вместо цветов к женскому празднику и поставила его в вазу. Даже воды налила в нее.

О событиях в нашем доме после рождения сына я, жалея же-ну, не буду рассказывать. Упомяну лишь об одном случае: большое недовольство выразили мои родственники, когда я торт, пригото-вленный в честь новорожденного, завернул в пеленку, и по телу малыша провел хлебным ножом. К счастью, я и здесь был настоль-ко рассеян, что забыл наточить нож и посыпать ребенка сахаром.

Только жена относится к моим странностям нетерпимо. Раз я упал вдруг перед ней на колени и сделал пламенное признание в любви. В ответ получил две крупные оплеухи. Жена хорошо знает мою рассеянность...

Ф. Нахтигаль

ВСЕ В ПОРЯДКЕ

С угрюмой миной на лице пришел Крингельмайер из гастроно-ма домой.

— Что, опять ни колбасы, ни селедки? — раздраженно спроси-ла жена.

— Да нет. От колбасы витрина ломится. И селедка есть, даже исландская.

Он подал жене купленные продукты, красиво завернутые в чи-стую бумагу.

— Удиви-тельно! — протянула жена.

— Видишь ли, — смущаясь сказал Крингельмайер, — когда про-давщица отвечивала колбасу, она вдруг мило улыбнулась мне. А на прощание сказала: «Приходите, пожалуйста, еще раз!».

— Ага! Она, наверное, тебе какую-нибудь дрянь подсунула!

Жена развернула бумагу. Продукты оказались свежими. Неко-торое время она растерянно смотрела на мужа и вдруг хлопнула себя ладонью по лбу.

— Все ясно: тебя обвесили!

И побежала к соседям, у которых были пружинные весы. Вер-нулась с недоуменным видом.

— Вес точен до грамма...

Целую ночь супруги не могли уснуть, все думали, почему это продавщица была так необычно вежлива.

— Может быть, она родственница твоего подчиненного? — предложила жена.

— Исключено! В нашем отделе никто никогда не говорил, что имеет родственников в торговле.

— Хм, странно...

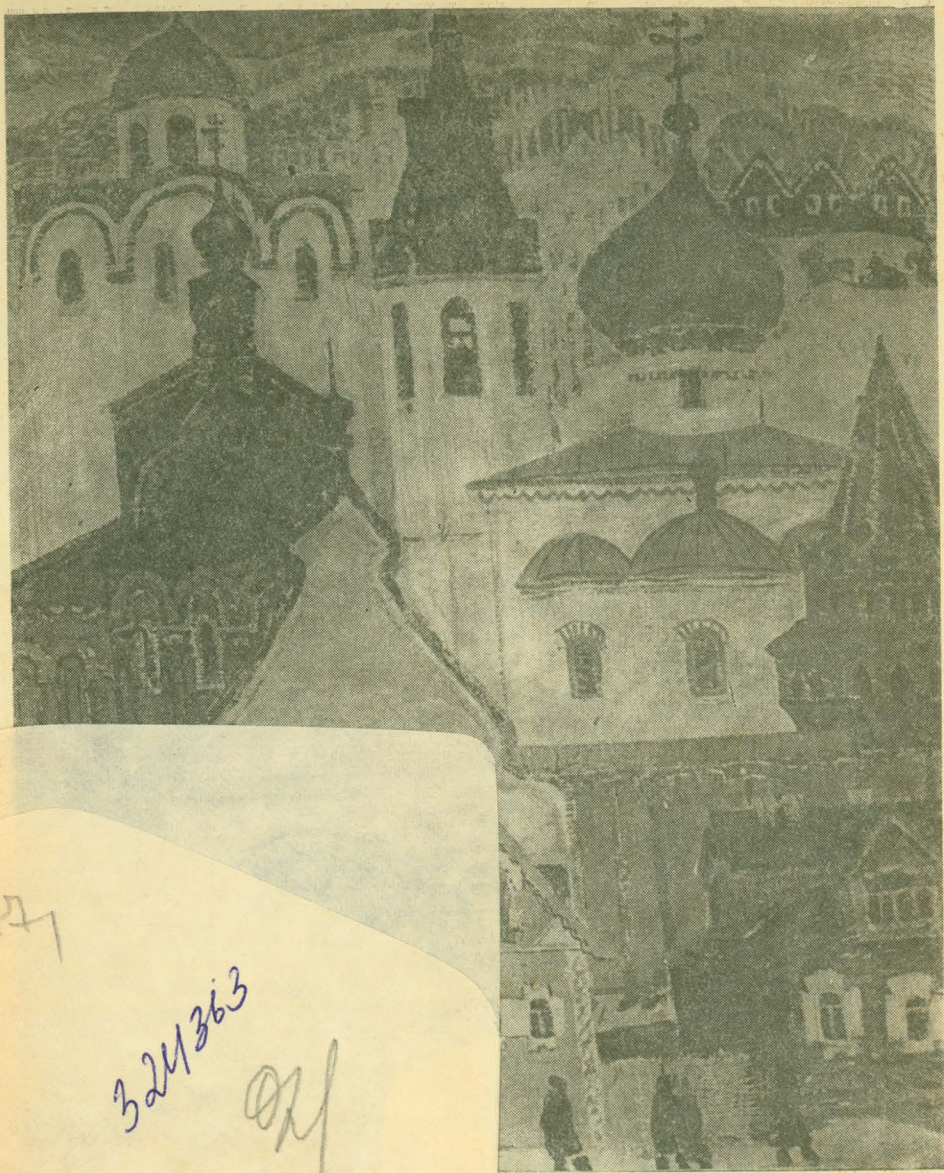
Весь следующий день эта история не давала Крингельмайеру покоя. Вечером после работы он снова зашел в гастроном. Вернулся домой успокоенный и довольный.

— Все в порядке! — весело крикнул он жене. — В магазине, оказывается, была «Неделя культуры обслуживания». Сегодня кончилась. Та же продавщица назвала меня, как обычно, «дураком» и «старым хрычом».

— Слава богу! — облегченно вздохнула жена. — А я уж не знала, что и думать.

И она побежала в гастроном за ветчиной, хотя порядочный кусок ее лежал в холодильнике.

Перевод с немецкого
ВАДИМА НАЗАРОВА



В. Зевакин. «РУССКИЙ
ПРЯНИК»

771

324363

221

221

37 коп.

Кемерово · 1972 ·

**ОГНИ
КУЗБАССА**